

АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР

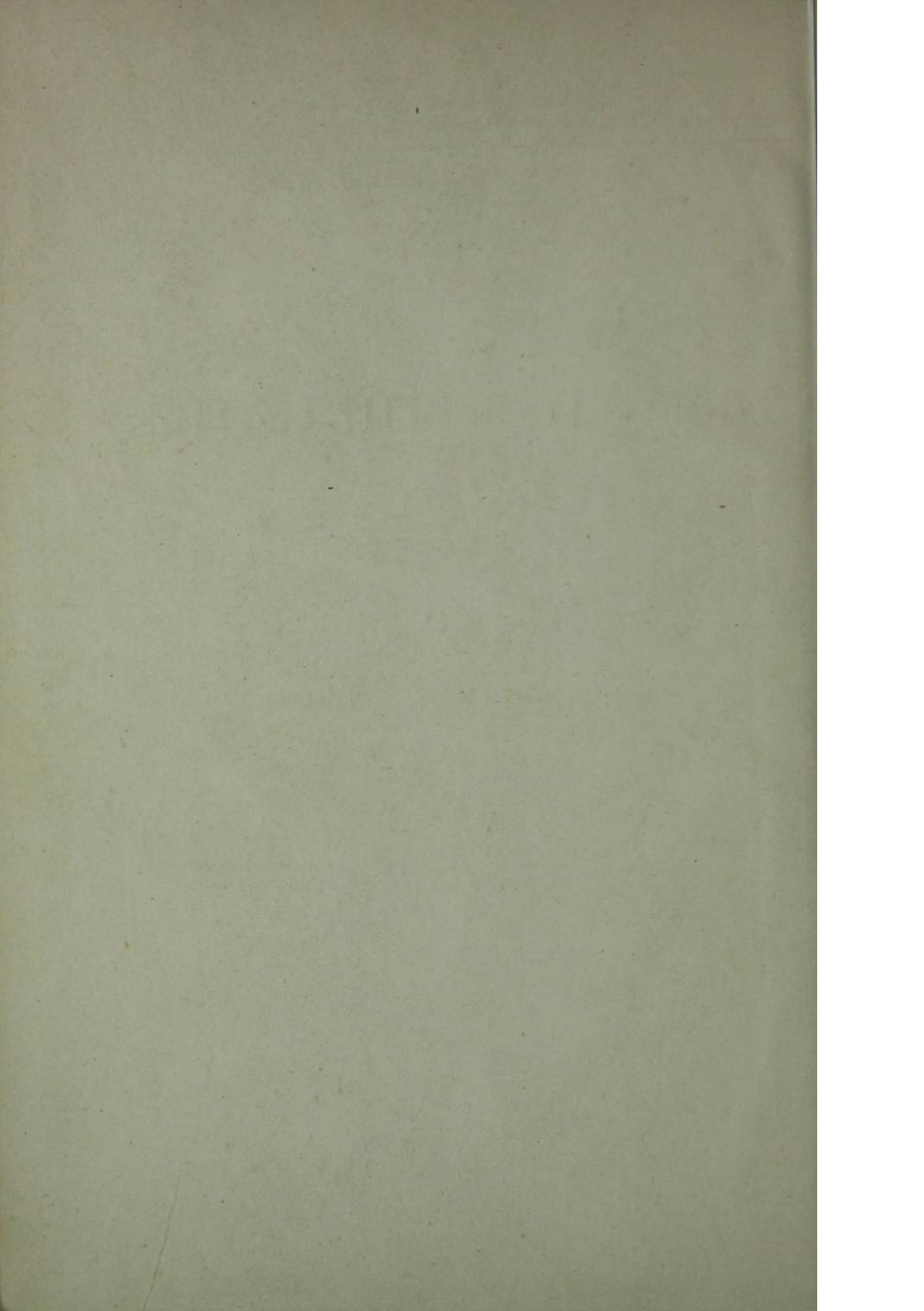
ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ

II

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР-ЛЕНИНГРАД







В-33

ДАР 81
Л. ПОЛЕВОЮ
Я 41

АКАДЕМИЯ НАУК
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ИНСТИТУТ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ

ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ

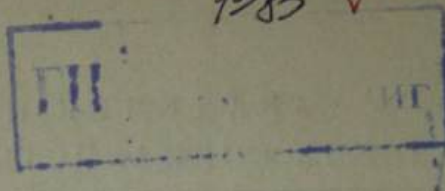
II

LE LANGAGE ET LA MENTALITÉ

II

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
ЛЕНИНГРАД • 1934

ГУМАНИТАРНЫЙ
ЦЕНТР
ИРКУТСК



Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР

Июнь 1934 г.

Непременный секретарь академик *В. Волгин*

Редактор издания академик И. И. Мещанинов

Технический редактор К. А. Гранстрем

Ученые корректоры С. М. Шнейдер и Е. М. Мастыко

Сдано в набор 13 марта 1934 г. — Подписано к печати 15 июня 1934 г.

179 стр. + 1 табл.

Формат бум. 72 × 110 см. — 11³/₈ печ. л. — 42346 тип. зн. — Тираж 3175

Ленгорлит № 14796. — АНИ № 180. — Заказ № 2783

Типография Академий Наук СССР. В. О. 9 линия, 12.

Посвящается

директору Института Языка и Мышления

академику

НИКОЛАЮ ЯКОВЛЕВИЧУ МАРРУ

по случаю

исполнившегося 45-летия

его ученой деятельности

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 34
PART 1
1904

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
И. И. Мещанинов. Основные лингвистические элементы (в яфетидологическом их освещении)	7
В. И. Абаев. Язык как идеология и язык как техника	33
С. Л. Быховская. «Пассивная» конструкция в яфетических языках	55
А. К. Боровков. Узбекский литературный язык	73
Н. В. Юшманов. Редкий случай стирания служебной частицы	99
Н. В. Юшманов. Палеонтологические пережитки в языке басен Локмана	103
С. М. Доброгаев. Звукопроизносительная речь нормально-слышащих и кинетическая речевая коммуникация глухонемых	105
И. Г. Лившиц. Фрагмент египетской надписи с именем Тутмоса III (с 1 табл.)	129
Критика и библиография	
Еще один шаг назад. И. М.	131
Черкесская культура по данным языка в интерпретации проф. Н. Ф. Яковлева. Г. Турчанинов.	132
А. Генке. Из культурного прошлого ягушей. В. Дондуа и В. Абаев.	142
Н. Pedersen. Linguistic science in the nineteenth century. С. Быховская	161
J. Friedrich. 1—2. Beiträge zu Grammatik und Lexikon des Chaldischen. 3. Zur urartäischen Nominalflexion. 4. Zum urartäischen Lexikon. И. М.	167
Всеволод Ф. Миллер. Осетинско-русско-немецкий словарь. В. Абаев.	169
Е. Hermann. Lautgesetz und Analogie. В. Абаев.	174
И. И. Зарубин. Белуджские сказки. В. Абаев	175
Хроника	
Доклады и сообщения, заслушанные на заседаниях кабинетов ИЯМ с 1 января по 1 июня 1933 г.	177

SOMMAIRE

	Pag.
I. I. Meščaninov. Les éléments primaires du langage	7
V. I. Abajev. Le langage comme idéologie et comme technique	33
S. L. Bychovskaja. La construction « passive » dans les langues japhétiques	55
A. K. Borovkov. La langue littéraire ouzbèque	73
N. V. Jušmanov. Un cas rare d'effacement d'une particule fonctionnelle	99
N. V. Jušmanov. Les survivances paléontologiques dans la langue des fables de Lokman	103
S. M. Dobrogajev. La parole phonique chez personnes de l'ouïe normale et la parole cinétique chez sourds-muets	105
I. G. Livschitz. Fragment d'une inscription égyptienne contenant le nom de Thoutmôsis III (avec 1 planche)	129
Comptes rendus et bibliographie	
Encore un pas en arrière. Par I. M.	131
La culture circassienne d'après les matériaux linguistiques, interprétée par le prof. N. F. Jakovlev. Par G. Turčaninov.	132
A. Hencko. Sur le passé culturel des Ingouches. Par V. Dondua et V. Abajev	142
H. Pedersen. Linguistic science in the nineteenth century. Par S. Bychovskaja	161
J. Friedrich. 1—2. Beiträge zu Grammatik und Lexikon des Chaldischen. 3. Zur urartäischen Nominalflexion. 4. Zum urartäischen Lexikon. Par I. M.	167
Vs. Miller. Dictionnaire ossète-russe-allemand. Par V. Abajev.	169
E. Hermann. Lautgesetz und Analogie. Par V. Abajev.	174
I. I. Zarubin. Contes balutches. Par V. Abajev	175
Chronique	
Rapports et communiqués faits à l'Institut du langage et de la mentalité du 1 janvier au 1 juin 1933	177

Акад. И. И. Мещанинов

Основные лингвистические элементы

(в афетидологическом их освещении)

При углублении палеонтологического анализа, еще десять лет тому назад, было обращено особое внимание на сохраняющиеся в языке наиболее архаичные формы. К числу таковых принадлежат имена эпонимных героев, племенные и топонимические названия.¹ Собираемые и анализ их с целью выяснения объединяющих их основ в границах Средиземноморья, включая Причерноморье с Кавказом и Переднюю Азию, выявили следующие племенные наименования, к которым сводятся все остальные, исторически известные:²

1) *sal* с его шипящею разновидностью *шуг* и другими вариантами начального переднеязычного, наличные в именах *ḡe-sal-ia*, *i-tal-ia*, *a-шуг*, *sig-ia* и т. д.

2) *ber*, в целой разновидности названий, начинающихся с любого губного звука, как то: *i-ber*, *i-mer*, *i-ver*, *e-ber*, *ber-ber*, финнов *mar-i*, эламитов *ha-pir-ti* и пр.

3) *uon*, зафиксированный в истории уже греческим малоазийским народом, и другие его разновидности по заднеязычной линии *hon*, *hun*, *gun* и др.

4) *goš*, в его разновидностях основы *las*, *gas*, откуда имеем такие названия, как *pe-las-g*, *les-g*, *gas-en*, *guš*, с ротатизмом *a-gar-at*, а также *a-гах* и т. д.

5) *mesq*, наличное в кавказском племенном названии, равно как и испанском *bas-k* и кавказском же *a-bas-k*, абхаз.

¹ См., напр., работы Н. Я. Марра 1921 года «Астрономические и этнические значения двух племенных названий армян», ЗВО, XXV; «К вопросу о происхождении племенных названий этруски и пеласги» там же: «La Seine, la Saône, Lutèce et les premiers habitants de la Gaule Etrusques et Pelasges», Petr., 1922.

² Этот перечень не приводится в печатных работах Н. Я. Марра, но восстанавливается мною по лекционным записям 1919—1920 гг.

6) kas, хорошо известное по кавказским и переднеазиатским названиям народов kas (каситов), kaz (казаков), haz (хазаров), а также в наименовании самой страны kav-kaz и Каспийского, Хазарского моря и др.

7) tuh или tush, наличное в имени кавказского народа тушинов, а также с перебоем ш ~ г, в наименованиях tor-k, tur-k и т. д.

8) gal, имеющиеся в имени древнего поселения Франции, равно как и передне-азиатских qal-d, qet, hal-an → al-an и пр.

9) kam, kab, известное по названиям kab-ar-da, kar-ra-dok-ia, по первой части имени kav-kaz и др.

10) skol, сохранившееся в имени скотов-скифов и kol-q'ob с одним заднеязычным в начале, а на западе, тоже с одним заднеязычным, kel-t.

11) sarmat, наличное в последующем за скифами племенном названии народа севера Причерноморья.

12) шумер или sumer, давшее также в своей трехсложной основе название subar и пр.

Эти двенадцать основных племенных названий вскоре же подверглись сокращению путем сведения некоторых из них к одной основе. Так, прежде всего, объединились последние два: sarmat и шумер. Анализ их основы выявил, что корни их srm и шmr, при функциональном t в имени сарматов, представляют собою не начальное трехсложное, а соединение двух основ sr (с его шипящей разновидностью шr) и mr, утративших каждая по одному консонанту, причем в имени сарматов сохранилась полностью первая основа sar, а в имени шумеров — вторая mer. Таким образом, полной основой, объединяющей оба имени, было sar-mr, от каковой и образованы sar-ma[r]-t и шu[r]-mer.¹

Выделение указанным путем двусложной основы, как первичной, вынудило признать исходное q в имени mes-q функциональным. В связи с этим, основа mes, при зафиксированном в армянском, тюркских и баскском языках законе перебора s ~ г, оказалась разновидностью того же самого mer(mes ~ mer), которое уже отмечено в племенных названиях 2-й группы (ber).²

Тот же закон перебора s, ш, следовательно и их артикуляционного антипода h в r(s || ш || h ~ г), изъял из этой схемы еще две группы, а именно tuh и gal. Первая из них (7-я), при перебое исходного h в г, дает основу

¹ Из лекционных записей 1924 г. В работе 1922 г. «Кавказские племенные названия и местные параллели», Н. Я. Марр еще усматривает во второй части имени сарматов «mat» термин «народ». Все же здесь уже выделяется основа «sar». Разбивка на два племенных названия проводится значительно позднее, ср. «Чуваши-яфетиды» (1926 г.), стр. 67.

² Например, «Кавказские племенные названия и местные параллели», стр. 2 сл.

tur, шипящую разновидность tal, уже имеющуюся в 1-й группе (sal). Вторая — gal (8-я) сопоставляется по тому же самому закону с kas при его перебое исходного s в г (kar). Таким путем объединились 6-я и 8-я группы.¹

И, наконец, последующая переработка всех пока сохранившихся восьми племенных названий (sal, ber, uon, гош, kas, kam, skol, шумер) выявила одну, общую для них, особенность, а именно, что все они оканчиваются или на плавные l, r, n, или же на дридувную s||ш (гош и kas). Исключение составляет только kab||kam. Последняя основа не возбудила особых сомнений как составная из ka-b или ka-m.² При этом представилась даже и возможность восстановить полную их основу, исходя из уже отмеченного наблюдения о возможности выпадения конечного l||r, как то мы имели в примерах с сарматами и шумерами (11-й и 12-й группы). Следовательно, kab и kam восходят к kar-b и kar-m. Но из того же сопоставления сарматов с шумерами мы уже видели отпадение r не только в первой, но и во второй части имени (sar-ma, ши-мер). Таким путем основа 9-й группы восстанавливается еще полнее в форме kar-maг или ker-mer, каковую мы и находим в более полно сохранившемся названии ki-mer.³ Это имя при перебое его начального заднеязычного k в переднеязычный s||ш сводит 9-ю группу к 11-й и 12-й, объединяя кимеров с сарматами и шумерами. Тем самым в эту же группу включается и основа kab||kam.

После проведенного сокращения осталось уже не двенадцать основных, а семь групп,⁴ как-то:

- 1) sal во всех разновидностях, включая основу tuh 7-й группы.
- 2) ber, к разновидностям которой присоединилась 5-я группа с основой mes-ġ.
- 3) uon, в прежнем своем составе.
- 4) гош, в том же составе.
- 5) kas, включающая в себя и группу 8-ую (gal).
- 6) skol, оставшаяся в прежнем виде.
- 7) шумер с сарматами и кимерами, то есть в объединении групп 9, 11, и 12.

¹ Закон перебора s ~ r наиболее ясно формулирован в связи с работами над чувашским языком, ср. «Чуваши-яфетиды», стр. 17, 52 (gumir ~ yomaz, tur ~ tum) и др.

² Еще в работе 1922 г. «Каппадокийцы и их двойники», Н. Я. Марр усматривает цельность основы kam, kab (ИАИМК, II, стр. 332 сл.).

³ См. «Чуваши-яфетиды», стр. 49.

⁴ Из отдельных сообщений Н. Я. Марра в разряде Древнего Кавказа и яфетического мира Гес. Акад. Ист. Матер. Культ. в 1925 г.

Означенные семь племенных названий легли в основу ряда палеонтологических исследований Н. Я. Марра, но все же не остались в этом своем неприкосновенном виде. Они подверглись дальнейшему сокращению. Такому сокращению в значительной мере содействовал анализ самого грузинского языка, лежащего до сих пор в основе яфетидологических исследований. Грузинский язык, в своем преобладании трехсогласных корней, сопоставлялся в этом отношении с трехсогласием семитических основ и выявил, совместно с корнесловом семитической речи, вторичность своего трехсогласия, сводящегося к скрещению двухконсонантных основ.¹ В связи с этим и анализ приведенных выше племенных названий, в своей подавляющей части двусогласных, выдвинул также вопрос о первичности двусогласных корней.

Исследовательская работа, сосредоточившаяся в данном случае на этнической номенклатуре, все время брала задачи гораздо более широкие. Сами племенные названия привлекались Н. Я. Марром со специальным заданием выяснения наиболее архаичных форм в общем ходе глоттогонического процесса языков Средиземноморья, расширенно захваченных в основной цели изучения языков яфетического состояния, а не одних только терминов этнического состава. И если на этих племенных названиях выявилась равным образом первичность двусогласия, то она выявилась вовсе не как специфическая особенность только племенной терминологии. В племенных названиях мы имеем отражение общего языкового развития, улавливаемого в своем архаизме на этом материале именно потому, что сами племенные названия наиболее архаичны в среде другого корнеслова.

Это наблюдение перекинуло исследование на анализ трехсогласия семитических корней. Сравнительное изучение их с грузинскими привело к установлению, что трехсогласие явилось результатом слияния двусогласных основ с отпадением одного из соединявшихся четырех консонантов. Пример этому мы уже имели в именах шумеров и сарматов (11-я и 12-я группы), основа которых *шмг* и *смг* восходит к четырехсогласию *шгмг* || *сгмг*. А если трехсогласие вообще, и в частности в данных племенных наименованиях, оказывается ни чем иным, как следствием соединения двух основ, то в настоящем случае мы устанавливаем тем самым слияние воедино двух племенных терминов *sal* || *шг* и *mer* || *ber*. Таким образом, шумеры, сарматы, кимеры и т. д. представляют собою скрещение *sal*'ов и *ber*'ов, то есть двух племенных групп, уже отмеченных под № 1 и 2. Тем самым отстраняется необходимость самостоятельного

¹ Из лекций по сравнительной грамматике семитических и яфетических языков 1925—1926 гг.

сохранения их в объединенной 7-й группе.¹ Этого рода племенные образования входят одною своею частью в 1-ю, а другою во 2-ю группу и потому утрачивают данные для специального их выделения.

В то же время, уточнение закона перебора заднеязычных и переднеязычных звуков в установленной схеме соответствий сибиланта и спиранта,² привело к изъятию 5-й из семи групп (*kas ~ kar*), каковой, по сибилантной разновидности соответствует *tas ~ tar || tal*, уже имеющееся в сальской группировке (№ 1).³

Таким образом, в семиплеменной группировке отпали 5-я и 7-я рубрики оставляя место только пяти:

1) *sal*, включающая в себя также 6-ю, 7-ю и 8-ю группировки двенадцатичленного деления, а равно первую часть терминов 9-й, 11-й и 12-й.

2) *ber*, со включением 5-й и второй части 9-й, 11-й и 12-й групп того же двенадцатичленного деления.

3) *yon*, в прежнем своем составе.

4) *гош*, тоже в прежнем составе.

5) *skol*, в том же составе.

Эта группировка сохранилась несколько дольше, пока не разъяснился термин племенного имени *сколотов*.⁴ Оказалось, что первые его две согласные представляют собою дифференциацию диффузного звука *h̃* (слитного из *s* и *h*). Означенный диффузный звук в своем расчленении, т. е. при выходе из диффузности, дал с одной стороны переднеязычный ряд *s → z ↗ t → d → θ* и их свистящие и шипящие аффрикаты с альвеолярным *ш → γ*; с другой стороны он же дал заднеязычный ряд *h → γ ↗ k → g → q* с их гортанными и небными аффрикатами и гортанными *х → у*. Третья возможность разложения того же диффузного *h̃* привела его к расклиниванию *sh*, в подъеме *tk*, аффрикативно *tk̃* и т. д. Таким образом, в диффузном *h̃* мы имеем не что другое, как единство противоположностей передне- и задне-язычной артикуляции, чем и обусловлен сам перебой сибилантов (переднеязычных) и спирантов (заднеязычных).

Только что приведенный анализ язычных звуков вынудил изъять из пятичленной группировки последний термин *skol*, как сибилантно-спирантную

¹ См., например, «Чуваши-яфетиды», стр. 61 и др.

² И. Мещанинов «Пособие к пользованию яфетидологическими работами», 1931, стр. 13—14 и др.

³ «Чуваши-яфетиды», стр. 17, 52 и др.; И. Мещанинов «Пособие к пользованию яфетидологическими работами» изд. ГАИМК, 1931.

⁴ См. Н. Я. Марр «Скифский язык», стр. 336 сл. в сборнике «По этапам развития яфетической теории», 1926.

разновидность сальского, уже объединившего в себе обе языковые ветви, т. е. и сибилантную и спирантную. Термин *sal* уже включил в свою группу основы с начальным переднеязычным (сибилантом) и заднеязычным (спирантом) типа *sal*, *hal* и т. д., поэтому сюда же должна быть отнесена и вновь установленная разновидность сибилантно-спирантного сочетания *shal*, в данном его варианте *skol*.

Осталось только четыре основных племенных термина:¹

- 1) *sal*, с любым язычным в начале.
- 2) *ber*, с любым губным в начале.
- 3) *uon*, с любым язычным или губным в начале.
- 4) *goš*, с любым плавным в начале ($l \parallel r \parallel n$).

Установление такого, уже четверного, деления совпало с расширением задач яфетидологического исследования. Яфетидология с расового в основе, племенного деления языков перешла на исторический путь диалектического развития языков вообще в их общем охвате глоттогонии.² В связи с этим, на особенностях яфетических языков стал изучаться ход языкового развития, присущий всем системам речи, а не одной какой-либо отдельно взятой группировке их. Обращение яфетидологии в общее учение об языке коренным образом изменило прежний подход к племенным названиям.

Так, в первую очередь, племенные термины, и раньше привлекавшиеся лишь для выявления наиболее архаичных форм словообразования, стали привлекаться теперь не только в целях сведения к ним, в их четырех разновидностях, всех наличных названий народов и населенных пунктов. К этим основам стал сводиться весь наличный корнеслов во всем его многообразии.

С другой стороны, яфетидология уже вышла из узких границ Кавказа и к яфетидологическому анализу стали привлекаться языки в общем их охвате. В связи с этим и намеченные четыре племенные основы прослеживаются уже во всех языках.

Новый подход к исследовательской работе поставил на очередь и вопрос о том, что представляют собою племенные названия сами по себе. Если они лежат в основе глоттогонического процесса периода племенных образований, то они тем самым не могут быть изначальными. Племенные образования являются продуктом уже развитого периода исторического процесса. Им предшествуют иные общественные струк-

¹ Работы Н. Я. Марра 1926 и 1927 гг., см. перечень их в ЯС, VI.

² Резкий поворот на новую постановку исследовательской работы начинается со статьи «Индоевропейские языки Средиземноморья», где ставится вопрос о стадийных трансформациях, ДАН, 1924.

туры, последовательным развитием которых они являются. В то же время усиливающийся упор на прослеживание семантических рядов выявил динамику в этих рядах, т. е. переход термина с одного понятия на другое. Тем самым, стал вопрос о переносе наименования на племенное образование с другой, предшествующей ему, социальной группировки. Сменилась сама постановка исследовательской работы по сведению всех словообразований к племенным основам. И сменилась она вполне естественным путем, так как трудно было обосновать, почему именно племенной термин лежит в основе всего словотворчества.

Одновременно выдвинулось и задание выяснения социально-экономических условий возникновения самой членораздельной звуковой речи, как преемницы линейной-кинетической.¹ По данным лингвистических, археологических и антропологических исследований, период формирования звуковой речи отнесен к стадиям верхнего палеолита, характеризующимся коллективной охотой с расчленением производства по специальностям и с расчленением внутри самой общественной среды.² Объединяющим началом охотничьего коллектива этой стадии не могла быть ни раса, ни племя. И то и другое являются продуктом уже более развитого исторического периода, созданные более развитыми формами хозяйственной деятельности, вызвавшими к жизни крупные общественные объединения.

В более отдаленные времена истории общества прослеживаются охотничьи коллективы, связанные не единством племени и даже не единством родового осознания на хозяйственной основе построенного объединения, а общностью конкретного вида производства. Эта общность производства и обуславливала собою само существование коллектива. Производство, как объединитель коллектива, воспринимается как производственный тотем. Тотем, в этом его понимании, и есть сам коллектив, т. е. само производство в его общественном выявлении производственных отношений.³

К этим производственно-тотемистическим терминам, следовательно к терминам определенного вида производства, и низводятся упомянутые выше четыре основные племенные названия, первоначально означавшие тотем — производство, а позднее, в стадии этнических образований, перенесенные уже на племенные названия.

¹ См. И. Мещанинов. К вопросу о происхождении членораздельной звуковой речи. ДАН, 1930.

² См. И. Мещанинов. К вопросу о стадийности в языке и письме. ИАИМК, 1931.

³ И. Мещанинов. Верхний палеолит, социально-экономические условия оформления звуковой речи. ИАИМК, 1931.

Таким образом, прежний тотемистический и этнонимистический подход оказался лишь ступенью к спуску на производственные термины в их первичном тотемно-производственном проявлении.¹ Эти термины выясняются как более архаичные, чем сама стадия племенных образований. Они использованы этой стадией прикреплением их к новым общественным объединениям, к племенам; следовательно, они преемственно переключались на качественно совершенно иные социальные образования. Поэтому, упомянутые выше четыре звуковые комплекса *sal*, *ber*, *yon*, *goš*, обращаются из основных племенных названий в основные четыре лингвистические элемента. Они связаны с обозначением производства, значит связаны и с производственным объединением, в данном случае с охотничьим еще коллективом, и со всеми производственными действиями. Именно поэтому они и лежат в основе всего наличного словотворчества, преемственно развившегося из прежнего ограниченного запаса в сложных путях технической и идеологической перестройки.

Новый подход к истолкованию основных лингвистических элементов указал на неудобства самого наименования их *sal*, *ber*, *yon*, *goš*. Это наименование вышло из попытки увязать существующие племенные названия. Между тем, по самому своему существу, они лишь отразились в племенной номенклатуре, когда попали в стадию данного вида общественных объединений, доставшись ему по наследству от предшествующих социально-экономических форм и закрепившись за ним²

В связи с этим, сама группировка, оставаясь тою же самой, получала иное обозначение, буквами А, В, С, D. Каждый элемент двусогласен, но с различным расположением фоном.

1) Элемент А. Имеет в начале любой звук язычной артикуляции, т. е. сибилант (переднеязычный) зубной (свистящий) $s \rightarrow z$, альвеолярный (шипящий) $š \rightarrow \gamma$, взрывные $t \rightarrow d \rightarrow \delta$, их аффрикаты свистящего ряда $t \rightarrow \check{d} \rightarrow \dot{\delta}$ и шипящего ряда $\check{t} \rightarrow \check{d} \rightarrow \dot{\delta}$, или спирант (заднеязычный) $h \rightarrow \gamma$, гортанные $\varepsilon \rightarrow y$, взрывные $k \rightarrow g \rightarrow q$, их аффрикаты небного ряда $k \rightarrow \check{g} \rightarrow \dot{q}$ и гортанного $\check{k} \rightarrow \check{g} \rightarrow \dot{q}$. Любой из этих звуков может быть первым, начальным, согласным данного элемента. Вторым согласным (исходным) оказывается один из плавных, а именно *l* или *g*. Наличные в основе два согласных звука, язычный в начале и плавный в конце, расклиниваются огласовкою *a*, *o* || *u*, *e* || *i*. В результате мы имеем различные сочетания данных согласных, как-то: *sal*, *sar*, *sur*, *dal*, *dal*, *dar*, *hal*, *gal*,

¹ Н. Я. Марр «Яфетическая теория», 1928, стр. 112 сл.

² Там же.

kaŋ, ɕal, ɕaŋ, ɕaŋ и т. д. с различными огласовками внутри преимущественно по нормам гласных соответствий сибилантной свистящей, шипящей и спирантной групп и ветвей.¹

2) Элемент В. Имеет в начале любой губной звук, а именно m, f, v, w, и взрывные p → b → ɸ. Исходным консонантом является плавный же l или g. Объединяемые здесь основы будут beŋ, meŋ, veŋ, veɪ, peɪ, и т. д. с различными огласовками.

3) Элемент С. Начинается с любого указанного выше язычного или губного звука, но оканчивается на плавно-носовой n. Сюда относятся такие основы как saŋ, baŋ, maŋ, vaŋ, hoŋ, yoŋ, doŋ, koŋ и пр., равным образом с различными огласовками.

4) Элемент D. Имеет обратное размещение согласных, начинаясь с плавных l, g, n и оканчиваясь язычным придувным s || ш ~ h. Этой основой объединяются такие фонетические комплексы как las, gas, goŋ, roh, poŋ, pos и др. без различения огласовок.

Уловленные анализом наличного языкового материала четыре лингвистические основные элемента должны получить свое объяснение вне зависимости от одного только языкового анализа. Впрочем, и этот анализ, казалось бы, можно продолжить в отношении элемента С. Означенный элемент, в своих разнovidных основах типа saŋ, baŋ, haŋ, yoŋ и т. д., отличается от первых двух только перебоем исходных l или g на носовой n. Между тем, такой перебой относится к числу характерных фонетических законов. Следовательно, элемент С оказывается, при таких условиях, разнovidностью первых двух элементов, в которых исходный плавный l || g заменен их перебойным носовым звуком n (saŋ ~ saŋ, baŋ ~ baŋ, haŋ ~ haŋ, yoŋ ~ yoŋ и т. п.). Таким путем, число основных элементов сократилось бы до трех,² а именно:

а) Начинающийся с любого язычного, с передне- или заднеязычного во всех их разнovidностях, и кончающийся плавными l || g (элемент А) или их перебойным n (элемент С).

б) Начинающийся с любого губного и кончающийся плавным l || g (элемент В) или их перебойным n (элемент С).

¹ См. И. Мещанинов «Пособие к пользованию яфетидологическими работами», стр. 13, 15.

² Предлагаемая новая группировка со сведением основных элементов к трем имеет в виду не генетический к ним подход, а историческое продвижение элементов, когда элемент А или В, путем перебора исходного p в g или l, сводится тем самым к элементу С. Этот ход, уже вторичного образования, отмечается Н. Я. Марром как вторичное явление, и в этих случаях, с основой на n, элемент все же восстанавливается в его первичном виде элементов А или В.

с) Начинающийся с плавных $l||г$, или их перебойного носового $п$, и кончающийся придумным сибилантом или спирантом ($s||ш \sim h$).

В них мы имеем древнейшие, улавливаемые на языковом материале, звуковые комплексы. Они присущи всем языкам, но проявляются в них далеко не всегда в цельном виде. Динамика языкового развития ведет к скрещению элементов, к слиянию их, вырабатывая из весьма иногда сложного их сочетания свои основы. Таковы, например, трехсогласные корни семитической речи и гораздо более осложненные построения основ в языках индо-европейского строя. В наиболее чистом своем виде элементы всплывают в языках так наз. элементного пиктографического письма, в частности в шумерском, эламском и в современных дальне-восточных.¹ Большинство же языков других систем в том числе индо-европейские, семитические, урало-алтайские, тут же и современные яфетические, имеют уже настолько сложные основы, что в них элементы улавливаются лишь путем углубленного анализа корнеслова. Каждый язык вырабатывает к тому же и свои фонетические законы, затрудняя тем самым еще в большей мере аналитическое прослеживание в них элементов.

Основные лингвистические элементы, воспринимаемые как таковые, а не как прежние племенные только названия, приближают нас к первичной стадии оформления членораздельной звуковой речи, поэтому, для их уяснения, приходится затронуть вопрос о характеристике самой этой стадии.² К тому же, переход на звуковую речь не может быть объяснен лишь изменением антропологического типа. Несомненно, что способность выражать свои мысли при помощи голосового аппарата вырабатывалась под воздействием определенных социальных условий.

Человечество общалось кинетической речью, сопровождаемую животным выкриком, пока это удовлетворяло его потребностям. Когда же потребности общения переросли фактические возможности линейного-ручного языка жестов, тогда стал делаться преимущественный упор на используемый диффузный выкрик. Упор на него привел его к членораздельности, выделив фонетические оттенки, которые и устанавливаются в отмеченных выше четырех основных звуковых комбинациях.³

Переходной период на звуковую речь был уловлен и Энгельсом. По его словам «потребность создала себе орган: неразвитая глотка обезьяны преобразовывалась медленно, но неуклонно, путем постепенно усиливаемых

¹ Н. Я. Марр «Китайский язык и палеонтология речи», ДАН, 1927 и др.

² И. Мещанинов «Верхний палеолит».

³ Там же.

модуляций, и органы рта постепенно научились произносить один членораздельный звук за другим».¹

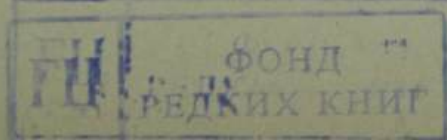
Предполагать, что человечество изначально владело звуковой речью, конечно, нельзя. На грани очеловечения примата звуковые способности ограничивались пределами животного выкрика, цельного в своем нерасчлененном составе, и отрицать использование этого выкрика в общем составе кинетической сигнализации не приходится. Человек им пользовался искони как одним из средств общения в общем комплексе других способов внешнего выражения мысли. Следовательно, выкрик имел уже социальное использование задолго до выработки звукового языка, имея социальную значимость на заре истории общественного человека. Но все же, первично, он остался лишь выкриком, и именно потому, что он уже был социально используем он содержал в себе все предпосылки к последующему своему же развитию по пути к звуковому языку, расчлняясь приводимыми в движение артикулирующими органами. И в этом пути к членораздельности голосовой аппарат, как отметил Энгельс, преобразовывался медленно, неуклонно идя к усиливающейся модуляции и постепенно вырабатывая один членораздельный звук за другим.

1383
Артикулирование отдельных органов голосового аппарата создавалось не сразу. Оно и не могло сразу создаться, так как весь процесс представлял собою один из видов борьбы человека с природой, в данном случае борьбы со своим же собственным физическим типом. Это будет тоже явлением социального порядка, так как такой борьбы, в таком ее выражении, нет в животном состоянии. Отношение к природе различно у человека и у животного. Последнее только пользуется внешнею природою и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия.² Такое отношение к природе изменилось не сразу с очеловечением примата, именно поэтому и приходится признать, что на низших ступенях своего развития человеческое общество в отношениях своих к природе вовсе не отличалось от животного столь коренным образом, как это оформилось позднее, когда человек своими изменениями заставил природу служить своим целям и стал господствовать над ней.³ Одним из таких шагов к господству над природой было, конечно, изготовление искусственных орудий, когда человек стал сознательно оттесывать кремь, приспособляя его к растущим потребностям

¹ Фр. Энгельс. Роль труда в процессе очеловечения обезьяны. Диалектика природы, изд. 1832 г., стр. 52.

² Ф. Энгельс. Диалектика природы, стр. 56.

³ Там же.



своего трудового акта. Здесь была одержана несомненная победа над природою, и притом победа именно человека, так как животное не способно к достижениям подобного рода. Но Энгельс же предостерегает от поспешных обобщений нашими над нею победами. По его словам «каждая из этих побед имеет, правда, в первой линии те последствия, на которые мы рассчитывали, но во второй и третьей линии совсем другие, непредвиденные препятствия, которые слишком часто уничтожают значение первых».¹

Сама борьба ярко выявляет ряд противоречивых явлений, и одним из таковых оказывается подчинение самого человека действию природы, что и выразилось в магическом оформлении его мышления. Человек неуклонно шел к господству над природою и на этом своем пути выявил в своем сознании ее преобладающую власть над собою же. Человек, еще в охотничьем состоянии своего хозяйства, уже нуждался в использовании сил окружающего внешнего мира, привлекая их к соучастию в своих трудовых действиях. Но, технически, он оказался слишком для этого слаб, и сношения его с природою выявились в своеобразной структуре мышления, приведшей к необходимости общаться с созданными воображением человека магическими силами, чествовать их и ублажать.² Именно здесь, в ритуальных плясках и песнях, в значительной степени усиливалась артикуляция на голосовой аппарат, ускоряя переход его к членораздельности.

В этом процессе мы, конечно, имеем не ход одного только биологического развития. Само биологическое развитие есть следствие социального прогресса. Оно подчинено ему и является главным образом его результатом. Если бы не было социального воздействия, то и животный выкрик не вышел бы из своего слитного, диффузного состояния выкрика, как это наблюдается у животных. Социальный фактор в этом своем проявлении достаточно ярко выявляется даже и по отношению к самим животным, живущим в общении с человеком. «Собака и лошадь развили в себе, благодаря общению с людьми, такое чуткое ухо по отношению к членораздельной речи, что, в пределах свойственного им круга представлений, они научаются понимать всякий язык... Всякий, кому приходилось иметь дело с такими животными, едва ли будут отрицать, что теперь часто бывают случаи, когда они ощущают, как недостаток, свою неспособность к членораздельной речи».³ Насколько сильно социальное значение звукового языка и самой социальной среды человека. В естественном состоянии ни одно животное не

¹ Там же, стр. 57.

² Н. Я. Марр. Яфетическая теория. Баку, 1928, стр. 89.

³ Фр. Энгельс. Роль труда в процессе очеловечения обезьяны, стр. 52.

испытывает такого рода неудобств, и то немногое, что они имеют сообщить друг другу, может быть передано и без помощи членораздельной речи.¹

Отсюда с бесспорной ясностью выступает, что звуковая речь человека, произносимая им же приведенным в действие артикулирующим голосовым аппаратом, ни в коем случае не является «даром» природы. А если это действительно так, то и весь процесс постепенного приведения в действие органов гортани и рта, следовательно и весь процесс образования фонем, есть равным образом социальный, а вовсе не биологический процесс. Поэтому к нему и приходится отнестись с наибольшей осторожностью, во избежание чрезмерного упрощения кажущегося однообразия в поступательном ходе выделения одного звука за другим. Наоборот, этот процесс крайне сложен в своих многообразных проявлениях, и если дальше наблюдается как будто бы плавная схема последовательного разложения сложных звуков, то это объясняется лишь желанием дать общий облик звуковой динамики, отнюдь не однообразный у всех отдельно взятых представителей уже наличной развитой речи.

Исследовательская задача осложняется еще и тем, что сама история звукового языка теряется на своих начальных этапах в глубокой древности. К тому же, постепенность выработки членораздельных звуков лишает возможности даже более или менее точно определить грани переходного периода от кинетической — ручной речи к звуковому языку.² И если яфетидология относит нижнюю грань звуковой речи к последней стадии древнего каменного века, то здесь имеется в виду только оформление этого способа общения в его уже явно доминирующей роли среди еще существующих иных способов выражения мысли.

При таком положении дела едва ли можно утверждать, что те четыре лингвистические элемента, которые уловлены яфетодологическим анализом, относятся в своем генезисе к этому периоду уже доминирующей звуковой речи. Весьма возможно, что их придется спустить значительно ниже. Они, эти четыре элемента, представляют собою древнейший, но отнюдь не синхронистический, результат разложения диффузной артикуляции голосового аппарата под воздействием труд-магического процесса.

Диффузное действие голосового аппарата уже давно было социально используемо. Оно участвовало в общем комплексе кинетической сигнализации. Это был уже выкрик общественного человека, его социально обу-

¹ Фр. Энгельс. Там же.

² М. В. Серебряков. Основные проблемы исторического материализма. Зап. Науч.-общ. марксистов, 1928, № 1 (9), стр. 3.

словленный сигнал, а не простое только рефлекторное движение животного. Но с другой стороны, нельзя допустить, чтобы членораздельная звуковая речь возникла самостоятельно и случайно. Она не могла возникнуть самостоятельно без всякой преемственной связи с физически готовым аппаратом. Весь процесс развития звуковой речи, продолжающийся и поныне, был в особенности на первых своих ступенях ярким выявлением борьбы человека со своею собственной физической природою, в результате которой столь коренным образом преобразовалась неразвитая глотка примата.¹

Звук идет протоком воздуха из легких через гортань и проходит надставною трубою полостей рта и носа. Продвигаясь к наружному выходу, звук трется о внутренние грани надставных труб, приобретая тем самым фонетическую сложность. Но, при животном выкрике, отдельные органы надставных труб (рта и носа) остаются без достаточно отчетливой артикуляции и потому отдельных фонем получиться на может.

Такой выкрик условно называется диффузным. Он не разложим на составляющие его части, естественно соучаствующие в конечном итоге протекающего звука без особого на него упора. Такой звук однороден с начала до конца, не имея способности переходить от одних звуков в другие. Такого физиологического определения животных выкриков вообще. С другой стороны, животный выкрик уже сложен в своем составе и заключает в своем единстве ряд противоположностей, которые и могут выявиться, когда будет сделан сознательный упор на артикулирование отдельных органов надставной трубы, через которую проходит звук. Но, такой артикуляции не в состоянии сделать животное.

Артикуляция звука есть уже результат осмысленного воздействия и никоим образом не может быть отнесена к числу явлений чисто биологического порядка. Следовательно, членораздельная звуковая речь, выявившаяся в результате усиления артикуляции, тем самым, очевидно, не изначальна.

Требовалось длительное воздействие на органы рта и гортани для придания им артикуляционных способностей с приспособлением к тому и самого голосового аппарата. Поскольку сам процесс такого приспособления шел под давлением определенного социального воздействия, постолько же и само изменение антропологического типа, в части его голосового аппарата, обязано тем же причинам социального воздействия. И если развитие мышц, регулирующих движение языка и обуславливающих специальную артикуляцию гортани, лишь намечается у неандертальского типа ископаемого человека, то окончательное оформление их устанавливается уже у кроманьона

¹ Фр. Энгельс. Роль труда в процессе очеловеченья обезьяны, стр. 52.

в достаточной степени для раздельного регулирования голосового аппарата.¹

Физический тип кроманьона разнится от предшествующего ему неандертальского не только усовершенствованием голосового аппарата. Это вполне естественно, так как потребности в членораздельной звуковой речи сами в свою очередь обусловлены осложнением хозяйственной деятельности, осложнением трудового акта. Эти осложнения сказывались, конечно, не в одном только упоре на язык. Поэтому, изменялся весь физический тип, а не одни только органы произношения.

Если членораздельная звуковая речь не могла быть, как отмечалось выше, изначально, являясь результатом социального воздействия на животный выкрик, сохранившийся в своем диффузном состоянии у уже общественного человека, то тем самым придется отрицать возможность изначального состояния и кроманьонского типа.

В кроманьоне мы наблюдаем резкий скачек, отбросивший его от неандертала. Скачек внешне выразился в изменении физической структуры человека настолько ярко, что археолог и антрополог обычно считают обе разновидности человеческой породы инорасовыми в своей основе. Отсюда — неизбежные толкования о смене рас путем внедрения новых взамен старых и т. д.² Между тем, очевидно, мы имеем тут резкий коренной перелом в самих формах трудового действия, что и обусловило не приход, а трансформацию физической породы человека, явно отличную в двух сравниваемых ее типах. В путях этой трансформации, общественные потребности обусловили также и оформление членораздельной звуковой речи артикуляционным воздействием на диффузный выкрик предыдущего состояния.³

При последующем упоре на органы голосового аппарата, артикулирующими могли оказаться органы рта, в частности язык и губы. В своем движении при проходе звука, язык наиболее четко реагирует кончиком, средней частью и заднею. Кончик языка или приближается к зубам, образуя зубные переднеязычные звуки («свистящие» по яфетической терминологии), или подымается кверху в сторону десны верхних зубов (альвеолам) и далее, оформляя церебральные альвеолярные переднеязычные звуки («шипящие»). Срединка языка, при артикуляции, приподнимается

¹ См. работы антропологов и археологов, например, Обермайер «Дойсторический человек» и др.

² См. И. Мещанинов «Палеонтология и homo sapiens», ИАИМК, VI, вып. 7.

³ И. Мещанинов. Верхний палеолит.

к нёбу, сокращая тем самым проход звука и придавая ему смягчение (палатализацию). Задняя часть языка, при ее движении, дает заднеязычные звуки, смыкаясь в некоторой их части с гортанными.

Действие губами при проходе звука образует в зависимости от движения губ или губно-губную артикуляцию ($w \nearrow p \rightarrow b \rightarrow \varphi$) или губно-зубную ($f \rightarrow v$). И, наконец, полость носа дает сонорные носовые, из которых и перебивается с плавными $г$ и $л$.

Эти три наиболее отчетливо выступающие артикуляции и выделяют, при разложении диффузного выкрика, три основные звуковые комплекса, каковые и уловлены уже в развитом словотворчестве, как три основные лингвистические элемента, с четвертою их разновидностью в виде элемента C .¹ Такое объяснение элементов было бы достаточным, если бы звуковой комплекс, в его установленном виде, состоял только из одного звука указанных артикуляций, а не из парного их сочетания. В виду этого придется продолжить анализ, обратившись к более углубленному рассмотрению фактических возможностей самого диффузного выкрика.

Для уточнения излагаемой мысли приходится вновь повторить, что используемый, до членораздельности голосового аппарата, животный выкрик может быть назван таковым лишь условно. Он уже входит в состав кинетической речи, сопутствуя жесту и т. д. Следовательно, он уже социально обусловлен. Это — не животный выкрик, хотя бы он и оставался еще диффузным. Именно поэтому он уже содержит в себе все предпосылки к последующему выделению артикуляции и тем самым к последующему выделению фонемы.

Выше уже указывалось, что такое выделение артикуляции, очевидно, не может быть отнесено за счет явлений биологического порядка. Оно обусловлено определенными общественными потребностями и является результатом вызванного ими общественного воздействия. Но, самое использование голосового аппарата есть все же использование физической природы человека. Отсюда следует заключение, сводящееся к тому, что оформление основных лингвистических элементов есть результат социального воздействия на биологические явления.

И поскольку физическая структура человека одинакова, где бы ни существовал человек, постольку мы уже имеем предпосылкою общность биологического явления. Поэтому, сходные социально-экономические условия, вне зависимости от каких-либо расовых признаков, могли в результате своего социального воздействия на еще диффузно работающий голосовой

¹ Здесь надо иметь в виду оговорку, уже сделанную в примечании на стр. 15.

аппарат, привести к выделению артикулирующих органов, оказывающихся везде одними и теми же. Этим и объясняется повсеместное наличие во всех языках указанных основных элементов в их более отчетливо выступающей или же более осложненной форме последующего их использования развивающимся процессом языкотворчества.

Определение звукового состава означенных элементов проводится, таким образом, по артикулирующим органам. Между тем, сама степень артикуляции продолжает все время оставаться под социальным воздействием, а потому далеко не стабильна, поскольку не стабильна сама социальная основа. Отсюда следует вывод, что ныне улавливаемые фонемы должны тем самым разниться от фонетических способностей речи на первых ее ступенях оформления звуковой членораздельности.¹ Из сказанного можно заключить, что основные лингвистические элементы в том виде, в каком они обычно приводятся (sal, ber, гош, уоп), в значительной степени условны в своей уже современной передаче характера звука. Прежде всего, они условны потому, что изъяты от всякого учета диффузности звука. Диффузный выкрик и диффузный же звук далеко не одно и то же. Диффузный выкрик разложился на звуки (фонемы). В этом и заключается процесс членораздельности, но отсюда все еще не следует полное тогда же исчезновение диффузного звука, то есть не выкрика в его целостном животном еще состоянии, а самой фонемы — продукта социального порядка.

Животный выкрик диффузен, потому что в нем соучаствуют еще самостоятельно не артикулирующие органы голосового аппарата. Фонема же использует уже артикулирующие органы, приведенные в действие общественным на них упором. Фонема социальна, в этом ее отличие от животного выкрика, но отсюда еще далеко до признания точной регламентации действия каждого органа в отдельности. Возможно продолжение совместного действия нескольких органов в образовании одного звука. Это будет тоже диффузность, но уже иного порядка. Это будет диффузность фонемы.

Фонема имеет свою историю. Поэтому свою историю должен иметь и определяемый ею элемент в его внутреннем переобращении, вне зависимости еще и от другого фактора его движения, от скрещения самих элементов, дающего новые звуковые комбинации более осложненных основ. Кроме того, элементы развиваются в потребностях своего семантического различия, т. е. опять-таки не по линии, биологически обусловленной.

¹ Опыт яфетидологического подхода к истории фонемы мною прорабатывается особо.

Движение элемента неразрывно связано с движением семантики.¹ Расчленение же значимости использует для нового обозначения оттенки фонемы. Следовательно, здесь мы имеем взаимодействие семантики и фонетики. А поскольку фонема находится в движении, мы, в силу этого, и к элементам не можем подходить только в стабильном их восприятии.

Современная нам артикуляция далеко еще не достигла чистоты звукового оформления, частично сохраняя по сей день совместное действие артикулирующих органов, уже способных действовать и самостоятельно. Это будет уже фонема, но все же диффузная в своей совместности артикулирующих органов. Таким образом, диффузность в этом ее понимании, еще далеко не изжита и по настоящее время. К числу таких слитно-артикулирующих звуков можно отнести губно-зубные ($f \rightarrow v$), язычно-губные (лабиализация), губно-носовые (m), губно-заднеязычные (например, в китайском) и т. д.² В связи с этим, приходится признать, что ясность каждого элемента выступает далеко не в достаточной степени во всех языках. Отсутствие такой ясности в значительной доле и объясняется тем, что в некоторых языках мы еще улавливаем, как характеризующий их признак, диффузное состояние звука, объединяющего собою начальные консонанты двух элементов. Таковы лабиализованные звуки абхазского языка, таков же по отзывам китаистов, ряд звуков губной аспирации в китайском и пр. И если движение фонемы идет к ее упрощению, то, естественно, что эти диффузные пока еще звуки приведут впоследствии к удалению их сложности, выделяя тем самым тот и другой элемент в зависимости от того, какая из слитных еще артикуляций окажется преобладающей. Отсюда приходится прийти к выводу, что в период оформления членораздельности звуковой речи, когда образовывались основные лингвистические элементы, мы не могли еще иметь обязательного уничтожения диффузности в полном ее объеме.

Только с этой оговоркою следовало бы подходить к выявлению возможностей образования самих элементов.

Наиболее простой случай диффузности, предшествующий выделению самостоятельной артикуляции органов рта, будет совместное действие двух надставных труб, а именно полостей носа и рта. Разбитие диффузности данного состояния идет путем приведения в действие нёбной занавески,

¹ Здесь с полной остротой встает вопрос о языке и мышлении, на разрешении какового и сосредоточивает в настоящее время своя работы Н. Я. Марр.

² Фонема, в ее историческом разрезе, подлежит особому исследованию. Здесь она затрагивается лишь поскольку это необходимо для уяснения элементов.

которая, поднимаясь кверху, разобщает полость рта от носовой. Таким путем выделяются ртовые звуки. Здесь мы имеем уже членораздельность, хотя бы и в плоскости только разделения двух надставных труб. Следовательно, тут пред нами уже результат социального воздействия, так как животный звук один в своем составе. Это единство диффузности ртово-носового выкрика уже заключает в себе две противоположности, которые и выделяются в процессе разложения прежнего слитного состояния, выявляя отдельно ртовую и носовую артикуляции и сохраняя в то же время возможность их совместного действия при образовании звука.¹ Отсюда же получается раздельное сочетание обеих групп звуков, то есть носовых и ртовых или же ртовых и носовых.²

В первом случае образуется комплекс звуков, именуемых элементом D, а во втором — элементом C. Из них элемент D, при выявившемся фонетическом перебое носового п в плавные г и л, соединил все эти три фонемы в их использовании как начальный консонант слогового образования. Элемент же C сохранил носовой п в конце слога (элемента) при нечленораздельности ртового звука в начале звукового комплекса. Поэтому он, при последующем расчленении самих ртовых звуков, объединил в себе все возможные их разновидности, распавшиеся как на язычные, так и на губные. В этом и заключается отличие элемента C от двух других (А и В).

Последние проводят артикуляционное разделение внутри ртовых, тогда как элемент C этого различия не проводит. Он является следствием дифференциации не ртовых звуков, а двух надставных труб, рта и носа.

Наиболее артикулирующим оказывается нижняя надставная труба, использовавшая движение языка и губ. Прежнее их единство, частично и сохранившееся например в лабиализации, распалось на эти две противоположности, дав начальный консонант язычного ряда (элемента А) или же губного ряда (элемента В).³

Последующий процесс расчленения выделил артикуляционные противоположности передне- и заднеязычных, проводя деление внутри элемента А

¹ Например и поныне наблюдается назализация звука.

² Таким путем получается двусогласная основа, которая и разбивается позднее огласовкою, давая обычную для нас форму элемента *sal*, *ber*, *uon*, *goш*, т. е. всякие разновидности А, В, С, D.

³ Представляя собою дальнейшую разбивку ртово-носовой артикуляции, эти два элемента А и В равным образом двусогласны, сохраняя исходный, второй, консонант по линии носовой артикуляции, но с ее ртовым перебоем в плавные г или л (ср. предыдущее примечание). Этим оба элемента, А и В, отличаются от элемента C с его явно выраженным носовым исходным согласным.

на сибилантную (переднеязычную) его разновидность и спирантную (заднеязычную).¹

В результате анализа данного явления, приведшего к членораздельности звуковой речи, мы вернулись к тем же четырем комбинационным разновидностям, которые и были уловлены по наличному языковому материалу палеонтологическим его разбором, как наиболее архаичные основы, которым и было присвоено наименование основных лингвистических элементов в их буквенном обозначении А, В, С, D, заменившим собою те же четыре элемента — основы, построенные на анализе племенных названий *sal*, *ber*, *uon*, *gosh*.

Группировка их представляется в нижеследующем виде:

I. Разложение носово-ртовой диффузности двух надставных труб в ее двух разновидностях:

1. Звуки носовой и ртовый — элемент D,
2. Звуки ртовый и носовой — элемент C.

II. Разложение ртовой диффузности в одной полости нижней надставной трубы, равным образом в двух разновидностях:

1. Язычные — элемент А,
2. Губные — элемент В.

Оба эти элемента, оканчиваясь на носовой п, образуют уже отмеченный выше элемент С, который их объединяет по признаку вообще ртового звука во всех его наличных разновидностях, представленных как начальный консонант слога при исходном носовом п. Элементы А и В отличаются от него тем, что имеют в конце перебойные для п плавные, уже тоже ртовые, звуки г или л, и начинаются каждый со своей артикуляции, а именно: А — язычной и В — губной. Таким образом, оба эти элемента, А и В, отличаются от элемента С тем, что обоими своими консонантами артикулируют уже в нижней надставной трубе, во рту, тогда как элемент С имеет своим исходным согласным носовой звук.

III. Разложение язычной диффузности, тоже в двух разновидностях:

1. Переднеязычные, образующие сибилантную ветвь,
2. Заднеязычные, входящие в спирантную ветвь.

Получаются две разновидности элемента А, выделяемые по начальному консонанту.²

¹ Равным образом двусогласные, см. предыдущее примечание.

² Второй консонант остается тот же, то есть г или л.

1. Переднеязычные: а) зубные (свистящие),
» б) альвеолярные (шипящие).

2. Заднеязычные: а) нёбные,
» б) гортанные.

Элемент А делится на две группы: 1) сибилантную, имеющую в начале переднеязычный звук, а именно: а) свистящего ряда $s \rightarrow z \nearrow t \rightarrow d \rightarrow \vartheta$ и их аффрикаты $t \rightarrow \check{d} \rightarrow \vartheta$; б) шипящего ряда $\text{ш} \rightarrow j \nearrow t \rightarrow d \rightarrow \vartheta$ и их аффрикаты $\check{t} \rightarrow \check{d} \rightarrow \vartheta$; 2) спирантную, начинающуюся с заднеязычного звука, как-то: а) заднеязычные $h \rightarrow \gamma \nearrow k \rightarrow g \rightarrow q$ и их аффрикаты нёбного ряда $k \rightarrow \check{g} \rightarrow \check{q}$; б) гортанные $\text{х} \rightarrow y$ с теми же взрывными заднеязычными $k \rightarrow g \rightarrow q$ и гортанными аффрикатами $k \rightarrow g \rightarrow q$.

Элемент В имеет в начале губной звук $m \parallel f \rightarrow v \parallel w \nearrow p \rightarrow b \rightarrow \varphi$ и оканчивается плавными $г$ или $л$ ($mar, mal, var, val, bal, bar$ и др.).

Элемент D начинается с носового п или его перебойных плавных r||l и оканчивается на язычный придумной (las, ras, roш, roh, noh и пр.).

При таком понимании основных лингвистических элементов, со сделанной выше оговоркою относительно фонетической стороны каждого звука, более ясно оттеняемого лишь позднее в историческом ходе развития речи, они, эти элементы, действительно лежат в самом процессе оформления членораздельного звука, потому что по ним прослеживается упор на выход

³ Поскольку в истории элементов берется упор на генетическую постановку, приходится считаться с тем, что огласовка ярко выступает уже в развитых языках, потому она и не могла иметь решающего в определении элемента значения. Ср. древние языки Египта, клинописные и арабского письма, или вовсе не передающие огласовки, очевидно как мало характерной, или слабо ее дифференцирующие.

из диффузного состояния выкрика, то есть именно путь к членораздельности звука. Этот путь имеет свою историю, вовсе не законченную и по сей день. Утверждение о том, что человеческое общество создало членораздельную речь и на этом успокоилось, имеет не больше данных для признания его правильным, чем широко распространенное мнение о расовой обособленности кроманьона, принесшего с собою в Европу членораздельный язык. Наоборот, процесс разложения диффузности продолжается и сейчас.

Слитное состояние не только различно артикулирующих органов рта, но и обеих надставных труб мы имеем, например, в назализации. Кроме того, если под диффузностью понимать слитное состояние двух противоположных начал, двух надставных труб, соучаствующих в образовании звука носом и ртом, то диффузным придется признать и единство формирования звука в одной полости рта двумя различными его органами, языком и губами, а также соучастие в создании звука гортанью и надставными трубами; когда воздух, идущий из легких, резонирует в гортани, во рту или носовом проходе.

Если диффузность, по своему существу, есть не что иное как единство еще не разложившихся противоположностей надставных труб или органов одной надставной трубы, то качественным изменением той же диффузности будет и единство двух противоречащих друг другу формирований звука длительностью и взрывом. В таком случае и то, что мы называем аффрикативностью является, равным образом разновидностью диффузности. Аффрикаты не только наличны в современных нам языках, но и хорошо известны по фонетике даже индо-европейской речи.

Более того, диффузностью, в этом ее понимании, будет и соучастие в образовании звука гортанью и надставною трубою (полостью рта), то есть соучастие, голоса и шума.

Следовательно диффузными, с означенной точки зрения, окажутся и все звуки, разделяемые нами на звонкие и сонорные. Вопрос только в качественном измерении самой диффузности, далеко не одинаковой во всех отмеченных случаях.

При таком расширенном понимании диффузности мы будем иметь в ней не что иное, как процесс диалектического развития фонемы.

В этом процессе диалектического развития диффузного звука (выкрика), в его начальном понимании еще нерасчлененности на фонемы, выделяется один период, именно период фонемного оформления. Разбившись на фонемы, слитный до этого выкрик дает два противоположные артикуляционные проявления, внешне выражающиеся в сочетании уже не одного от начала

до конца цельного звука, а двух фонем, что и образует членораздельный слог, используемый уже как отдельный сигнал — слово. В этом начальном периоде членораздельности выкрика и выявляются основные лингвистические элементы.

Именно поэтому прежнее их наименование *sal*, *ber*, *uon*, *goß*, должно быть заменено более условным буквенным обозначением, указывающим состав комплекса, но отнюдь не предопределяющим конкретное обозначение каждой составляющей его фонемы. Приведенные выше термины, в этом их виде, взяты уже из наличного состава развитых языков, палеонтологический анализ которых неминуемо воспринял современный нам разрез звукового продвижения. В данном же своем оформлении эти элементы являются продуктом уже развитой фонемы с точным, к тому же, разделением обоих согласных уже ясно выступающею огласовкою.¹ Такая же оговорка требуется и по отношению к приведенной мною схеме звукового состава каждого элемента, в равной мере построенной лишь с учетом исторически зафиксированных разновидностей каждого звукового ряда, следовательно схеме далеко не законченной и вовсе не безукоризненно точной.

Сказанное все же отнюдь не срывает правильности прежнего утверждения о глубочайшем для звуковой речи архаизме устанавливаемых элементов *A*, *B*, *C*, *D*, лишь развитая разновидность которых отмечается в примерах приведенной выше схемы. В основе их лежат не эти конкретные примеры, пригодные для определенного развитого периода, а то отмеченное определение комплекса, разновидностью которого они являются.

Элементы формируются под воздействием социальных условий на физические особенности голосового аппарата. И только потому что лежащее в основе биологическое явление обще всей породе человека, мы и имеем наличие всех элементов во всех языках. В этом и заключается один из самых крупных аргументов в пользу признания изначальности элементов для членораздельной звуковой речи, когда наличие их, наблюдаемое повсюду, объясняется не расою и не племенем, а сходством создающих социально-экономических условий.

Эти элементы вызваны к жизни потребностями определенного состояния человеческого общества. Они вырабатываются в процессе уточнения сигнализации сношения. Поэтому каждый сформировавшийся элемент должен иметь значимость. Приурочение к нему определенной значимости и лежит в основе разбивки выкрика на членораздельность. Если бы не было социально обусловленной потребности во внешнем выражении более уточненной сигнала

¹ См. предыдущее примечание.

лизации, то прежний диффузный выкрик оставался бы без изменений. Качественная его трансформация обусловлена возникновением в общественной среде, в зависимости от развития форм производства, необходимости в большей дифференциации сигнала. Этому, при определенном составе кинетической речи, уже перестал удовлетворять жест руки и упор пошел на уже давно наличный звуковой выкрик. Следовательно, развитие и даже изначальное оформление звукового комплекса находится в зависимости от потребностей сигнализации с точным приурочением к ней значимости, то есть от семантики.¹ Таким образом, семантика на самых первых порах развития звуковой речи уже лежит в основе ее оформления и если бы не было потребности в новых обозначениях, то и не вышел бы из диффузного состояния сам лингвистический элемент.

Но, с другой стороны, при раздробленности пользующихся речью коллективов, слабо связанных между собою условиями деятельности еще охотничьих обществ, переходящих на использование звукового языка,² нельзя предполагать о взаимной согласованности их в закреплении за каждым элементом одного и того же значения. В результате, каждый элемент имеет в период своего образования определенную семантику, то есть является словом, но может иметь различную значимость в различных коллективах. И если каждый имел в своем распоряжении все возможности артикуляционных сочетаний, следовательно все четыре элемента, то все же он мог делать преимущественный упор на один из них, используя его в большей степени, чем остальные.³ Предполагать же наличие в каждом таком коллективе только одного элемента конечно нельзя, так как биологическая предпосылка дает возможности артикуляции и гортанью и надставными трубами, а во ртовой полости языком и губами и т. д.

Разложение диффузного выкрика дало слово, но оно дало и фонему. Дальнейший процесс звукового развития пошел и в части фонемного оформления и в части словарного.

Фонема изменяется развитием артикуляционных сочетаний. Это движение фонемы используется и при словарном семантическом различении, в чем и заключается один из факторов ее собственного развития. Кроме того, движение слова идет и во взаимном столкновении слов, давая в синтезе новое, уже качественно иное, скрещенное или составное образование.

¹ Неразрывно связанный с вопросом об элементах вопрос о семантике служит темой для особой работы.

² См. И. Мещанинов «Верхний палеолит».

³ Ср., например, И. Мещанинов «Ионизмы в Халдском», ЯС, III.

Скрещение элементов есть не что иное как скрещение слов, потому что элемент должен иметь значимость, следовательно уже является словом. Это утверждение относится и к древнейшим периодам глоттогонического процесса, именно к самому формированию элементов, то есть к периоду разложения диффузного выкрика. Отражение этого периода мы находим в языках пиктографического письма, перешедших в идеографическое обозначение знаков, в которых слово близко, а иногда и полностью совпадает с элементом. Такие языки, по признаку их корнеслова, мы и называем языками элементного строя.¹ Все же эти языки не могут быть чистыми носителями элементов, потому что сами элементы находятся в процессе идущего развития,² давая в своем соединении новые формирования, один из примеров какового мы и имели в упомянутых выше племенных названиях сарматов, шумеров, кимеров и т. д., то есть в слитном сочетании их различия, в данном случае элементов А и В.

Тот же процесс скрещения элементов выявляется также и в уже указанных трехсогласных семитических основах, образовавшихся от сочетания двух элементов, фактически четырех согласных, утрачивающих один из них. Качественное переоформление ведет к образованию новых форм, выявляемых в основах того или иного языка, в данном случае в трехсогласных основах семитической речи.

Дальнейший путь истории элементов уже улавливает их в новом качественном перевоплощении в разновидностях основ всех языковых представителей. Здесь выявление элементов нередко проводится достаточно сложным палеонтологическим анализом.³

Весь настоящий очерк носит рабочий характер. Последующие уточнения и даже изменения, конечно, неизбежны.

¹ Например, шумерский, китайский и др.

² К тому же эти языки уже находятся далеко не в первобытном состоянии глоттогонического процесса.

³ В длительном процессе развития речи, элементы-слова перевоплощаются в сложные корнесловы, образуемые из взаимодействия законов фонетики и скрещения элементов. Но все же, при наличии единства процесса развития речи в его получающихся многообразиях внешнего оформления, элементы неминуемо выявляются по мере углубления генетического разреза.

Едва ли правильным будет утверждение, что отмеченные основные лингвистические элементы А, В, С, D генетически одновременны. Повидимому, одновременность их возникновения только кажущаяся: она объясняется тем, что анализ наличного языкового материала, в его палеонтологическом разрезе, выявляет четыре элемента как наиболее архаичные. Таковыми они действительно и являются, улавливаемые во всех языках вне зависимости от их уже исторически обусловленных расхождений. Но отсюда еще далеко до утверждения, что диффузный выкрик сразу разложился на эти свои улавливаемые четыре разновидности

В. АБАЕВ

Язык как идеология и язык как техника¹

Когда семантика перерастает в идеологию

Существует взгляд, что одно из главных или даже главное «качество» яфетидологии, отличающее ее от старого языкознания, заключается в том, что она больше «напирает» на семантику. Этот взгляд — не скажу ошибочен, но несколько наивен. Если бы сущность наших расхождений со старой школой сводилась к степени интереса к вопросам семантики, то не стоило огород городить. Немного больше семантики, немного меньше — какая разница? И где тут революция в языкознании?

Воспользуюсь сравнением. Если бросим взгляд на другие области научного знания, то увидим, что и помимо лингвистики есть науки, которые стоят под знаком преобразования и обновления. Например — физика. Не будет ошибки сказать, что характерная черта новой физики в отличие от старой в том, что она больше «напирает» на электричество. Однако, работник новой физики найдет такое представление наивным и недостаточным и справедливо заметит, что новая физика отличается от старой не тем, что больше занимается электричеством, а тем, что в ней:

1. Самое понятие об электрических явлениях подверглось существенному преобразованию благодаря проникновению в сферу бесконечно малого (во внутреннюю структуру атома).

2. Вырабатывающееся на этом пути новое учение об электричестве становится краеугольным камнем новой физики.

Не собираясь делать какие-либо далеко идущие построения на аналогии с физикой, я охотно использую эту аналогию для пояснения своей мысли, которая сводится к тому, что основное качество нового учения о языке не в том, что оно уделяет семантике относительно больше внимания, а в том, что в нем:

1. Самое понятие «семантики» подверглось преобразованию, благодаря проникновению в бесконечно отдаленные эпохи речетворчества.

¹ Статья представляет, в переработанном виде, доклад, читанный в 1931 г. в б. Яфетическом Институте.

2. Вырабатывающееся на этом пути новое учение о семантике становится краеугольным камнем всего учения о языке.

Исследуя значимость того или иного элемента речи, мы можем в своем анализе спуститься на разную степень глубины. На известной глубине семантический анализ перерастает в идеологический. Когда именно это происходит? В огромном большинстве случаев лишь тогда, когда мы устанавливаем генетическую связь данного значения с другими значениями, предшествующими ему или с ним сосуществующими. Если мы констатируем, что латинское слово *rescūa* значило «деньги» и ничего более — мы остаемся в пределах коммуникативной, технической семантики. Но лишь только мы устанавливаем связь этого слова с латинским же словом *resus* в значении «скота», семантический анализ получает силу и значение идеологического. Иначе говоря, существуют две семантики: семантика изолированных, технических значений — техническая семантика, и семантика генезиса и взаимосвязи значений — идеологическая семантика. Осетинское слово *wāzdan* имеет два значения: «человек высшего сословия» (= «уздень») и «вежливый». Взятое изолированно, каждое из этих значений несет чисто техническую функцию в коммуникации. Но сопоставление этих двух технических значений вводит нас уже в круг определенных идеологических представлений известной социальной среды, согласно которым вежливость есть свойство людей высшего класса. Нам хорошо известно современное, обиходное значение слова «труд». Проследив историю этого слова, мы устанавливаем, что когда-то оно значило также «болезнь», «страдание». Мы узнаем, следовательно, что словом «труд» выражалось не только понятие о производительной деятельности (техническая семантика), но и точка зрения на эту деятельность, как на «страдание», «болезнь», короче — определенная идеология (идеологическая семантика). Одно и то же понятие «богатства» выражено в трех различных языках, русском, осетинском и немецком, тремя различными способами. В русском оно связано с «богом», в осетинском с «днем», «светом» («*bondæn*» от «*bon*» — «день»), в немецком с «царской властью» (*reich*). Техническая семантика этих трех слов — одна и та же. Семантика же идеологическая — разная. Каждое из них говорит об особом мировоззрении и об особых условиях общественного существования в эпоху формирования этих слов.

Вообще, относительно каждого элемента речи, каждого речевого акта у нас может встать два вопроса: что выражается этим элементом, и как, каким способом оно выражается. Техническая семантика отвечает

на первый вопрос, идеологическая — на второй. Идеология заключена в первую голову в ответе на вопрос «как», а не «что». Как совершается образование тех или иных речевых категорий? Как, по каким ассоциативным путям происходит наречение тех или иных предметов? Как происходит смена одних значений другими? Как используется старый речевой материал для выражения новых понятий и отношений, вошедших в обиход коллектива?

Обязательное углубление семантического анализа до значения идеологического, обязательный учет закономерных стадийальных сдвигов в семантике, обязательная постановка не только вопроса «что», но и вопроса «как» — вот что характерно для яфетидологических изысканий, а не просто количественное преобладание семантики.

Почему именно в вопросе «как» заключена тайна речевой идеологии? А вот почему.

Восприятие. — Осознание. — Наречение

Для того, чтобы то или иное явление нашло отражение в языке, недостаточно, чтобы оно было воспринято, необходимо, чтобы оно было осознано, необходимо, чтобы оно было тем или иным способом приобщено к системе хозяйственного и социального опыта коллектива.

Допустим, что в сферу осознания коллектива вошло какое-нибудь новое явление или отношение. Оно требует выражения в языке. Как удовлетворяется языком эта потребность? Путем изобретения какого-нибудь совершенно нового слова, формы или оборота? Ни в коем случае. Элементы изобретательства почти совершенно в языке отсутствуют. Для выражения нового явления или отношения используется старый речевой материал, тем или иным способом скомбинированный, измененный, приспособленный.¹ Но в старом речевом материале есть обычно известный выбор, что и как именно использовать для нового понятия: можно выразить и так и этак. Однако, в каждой данной среде наречение² происходит одним определенным способом, а не другим. Отчего это зависит? В первую голову от вырастающего на определенной материальной основе мировоззрения, идеологии данной среды. Тожественные условия бытия порождают тождественные нормы речевых новообразований. Именно в силу различий в мышлении, мировоззрении мы видим часто, что одно и то же, по своей объективной

¹ Случаев заимствования мы здесь не касаемся.

² Термином «наречение» мы объединяем для краткости все случаи языковых новообразований, т. е. не только создание слов для новых понятий, но также новые морфологические образования, новые синтаксические обороты, вообще всякие новые по структуре или составу, а следовательно по функции речевые акты.

сущности, явление или отношение может выражаться в различных средах совершенно различными способами и обратно. Различие заключено, разумеется, не в ощущении, а в осознании. По свойствам нашего сознания, отражающим свойства самой действительности, никакое новое явление или отношение, будучи нами воспринято в опыте, не остается изолированным, отделенным стеной от всего предшествующего опыта. В процессе осознания и наречения оно вводится нами в те или иные, прежде выработавшиеся семантические комплексы и таким образом занимает свое место в системе всей нашей осознанной, идеологизованной практики. Связь нового семантического комплекса со старыми необходимо находит себе выражение в наречении, именно в том, как используются старые языковые средства для нового образования.¹ Способ наречения того или иного явления или понятия, способ выражения в языке того или иного отношения неизбежно выявляет идеологические пути, по которым идет приобщение этого явления или отношения к предшествующему опыту в данных условиях общества и мировоззрения. В этом и заключается разгадка того значения, которое имеет вопрос «как». Независимо от нашего желания, в осознании и наречении нами вещей, явлений и отношений выявляется наше общественно-детерминированное мышление, мировоззрение, идеология. Здесь мы подходим с новой стороны к двум семантическим аспектам речи — техническому и идеологическому. К аспекту «что» и аспекту «как». Первый информирует нас об объеме общественной практики, второй — об идеологическом осознании этой практики.

Каждый элемент речи может быть, во-первых, носителем известного технического значения, соответствующего какому-нибудь действительно существующему в объективном мире факту или отношению. Эта техническая значимость образует «ядро», устойчивое и способное переходить из эпохи в эпоху, из одной общественной среды в другую, так как оно суммирует эмпирический опыт, основанный на тождестве предметного эквивалента данного восприятия у людей различных эпох и формаций. Это объективное, технически-эмпирическое «ядро» значимости может окутываться, обволакиваться рядом субъективных, привходящих идеологических представлений, настроений и ассоциаций, которые полностью обусловлены состоянием сознания и опыта людей данной эпохи и данной общественной среды и, следовательно, так же неустойчивы и преходящи, как всякие другие формы идеологии. Весь комплекс этих сопутствующих семантиче-

¹ Строго говоря, речь идет даже не о новом образовании, а об использовании старых средств в новой функции.

ских представлений образует «оболочку», придающую речевому элементу известный идеологический аромат.

Если взять, для примера, семантику слова «солнце», то представление о солнце, как о дневном светиле, образует «ядро», а факультативно сопутствующее ему представление о солнце как о божестве — «оболочку».

Пользуясь терминами оптики, можно сказать, что «ядро» представляет среду, отражающую бытие, «оболочка» — среду, преломляющую (resp. искажающую) его. «Ядро» имеет корни непосредственно в предметной действительности, «оболочка» — в общественной идеологии. «Ядерные» представления образуют материал научного познания, «оболочечные» дают пищу для всевозможных мифологических, религиозных, метафизических и поэтических построений.¹

Непрерывный процесс технизации

Возьмем наш новообразованный, выработавшийся в процессе восприятия-осознания-наречения семантический комплекс и пустим его в обращение, в речевую коммуникативную практику. Посмотрим, что с ним тут произойдет.

Очевидно, прежде всего, что, когда речевое новообразование поступило в коммуникативный оборот, при употреблении его вовсе не повторяется каждый раз вся та работа мысли, с которой было связано осознание-наречение. А работа эта, как мы помним, состояла, главным образом, в идеологическом освоении вновь осознанного явления или отношения, в идеологическом приобщении его ко всему остальному опыту, во включении его в контекст общественной практики, в создании вокруг него известной идеологической «оболочки». Эта работа воспроизводится в речевой практике каждый раз все с меньшей и меньшей полнотой и отчетливостью, и семантические представления концентрируются все больше вокруг тех устойчивых, стабильных, адекватных объективной действительности элементов восприятия, которые образуют «ядро». Иначе говоря, если в процессе осознания — наречения семантический центр новообразования мог находиться в «оболочке», то в процессе коммуникации он все более и более перемещается к «ядру», к технической значимости.

¹ Излишне говорить, что элементы «ядра» и «оболочки» вовсе не пребывают в нашем сознании в такой же раздельности, как, скажем, ядро и скорлупа грецкого ореха. Они перемешаны и сплетены теснейшим образом, и наша схема «ядра» и «оболочки», как всякая абстракция, имеет лишь вспомогательное значение для более легкого понимания дальнейшего. Взаимоотношения «ядра» и «оболочки» на ранних ступенях общественного развития хорошо освещены Lévy Bruhl'ем; см. «Первобытное мышление», стр. 25 сл. и стр. 312 сл.

Технизация речевого образования неизбежна даже в том случае, если мы остаемся в пределах той же самой (социально и хронологически) среды, в которой произошло первоначальное осознание-нарекание. Между тем если как познавательный акт речевое новообразование связано с определенной более или менее узкой и ограниченной социальной средой, с ее мышлением и мировоззрением, то как акт коммуникации оно может выходить и выходит за эти узкие рамки и обслуживает несколько различных социальных группировок, производственных, сословных, классовых, профессиональных и т. п., с различной идеологией, с различным характером предшествующего опыта. И вот представим, что наше новообразование из одной среды, где оно впервые возникло, попало, в порядке коммуникативной практики, в другую среду. Этой новой среде может с самого же начала оказаться чуждым то идеологическое содержание, которое было вложено в него первой средой и которое тем или иным способом запечатлелось и на материальной форме или структуре нашего речевого образования. Новая среда с самого же начала отвлекается от этой внутренней формы, несущей чуждую идеологию, и сразу же воспринимает новообразование в одном только техническом его значении. Она прекрасно усваивает (в пределах своих коммуникативных потребностей), что выражается данным образованием, и не обращает внимания, как оно выражается. Из всего семантического комплекса, образуемого «ядром» плюс «оболочкой», она с первого же разу берет одно «ядро» (что разумеется не может ей помешать создать вокруг него новую, свою оболочку).

Как только речевое образование выходит за пределы той тесной среды, где оно создано на базе определенной системы опыта, мышления и мировоззрения, ее семантика имеет тенденцию сузиться до тех объективно-реальных, технических элементов восприятия, которые очевидны и обязательны для всех. Можно сказать: чем шире и разнороднее среда обращения, тем уже и технизованнее семантика. Сужение идеологических функций языковой системы идет параллельно с расширением ее технических функций.

Итак, если даже в пределах одной и той же социальной среды технизация рано или поздно неизбежна, то в коммуникативной практике между различными социальными средами процесс технизации ускоряется во много раз.

Из сказанного ясно, что технизация есть чисто семантический процесс. Это — процесс семантического сужения, семантической редукции, семантической специализации, в силу которой в повседневной речевой прак-

тике перестают осознаваться все те идеологические «оболочечные» представления и ассоциации, с которыми было связано возникновение данного речевого образования. Перестают осознаваться даже в том случае, когда внешняя, материальная форма или структура выражения продолжает хранить явные следы породивших ее идеологических представлений. Было бы, пожалуй, правильно назвать этот процесс «дезидеологизацией», но такой термин звучит слишком неуклюже, поэтому я буду в дальнейшем пользоваться термином — тоже не слишком изящным — «десемантизация» (как эквивалентом «технизации»), подчеркивая однако, что речь идет не о полном обесмыслении, — что было бы абсурдом, — а только о переносе центра тяжести от идеологической семантики к технической.

Все без исключения элементы речи: слова, морфологические образования, целые речевые категории, как, например, грамматический класс и род, синтаксические обороты, как, например, так называемая пассивная конструкция, — все они подвержены десемантизации и технизации и поэтому все они сплошь и рядом своей современной материальной формой связаны не с современными же, а бесконечно отдаленными нормами мышления и речетворчества, что, однако, не мешает им успешно обслуживать технические нужды современной коммуникации.

В нашей повседневной речи есть множество таких слов, оборотов и целых речевых категорий, что если бы их смысл и значение осознавались нами так же живо и полно, как в момент их образования, употребление их было бы совершенно невозможно, либо по бессмысленности их теперь, либо по несоответствию их современным нашим представлениям о вещах и отношениях.

В момент своего возникновения все речевые образования: лексические, морфологические, синтаксические, имеют наряду с технической значимостью — идеологическую, выявляющуюся в способе их построения, в их взаимоотношениях с остальным речевым материалом. Но идеологическое содержание всякого языкового образования осознается говорящими только в первый период его существования, пока остается в силе породившая и питающая его система общественной практики и мировоззрения. После этого идеология речевого образования отживает и забывается, само же образование, его материальная форма может еще неопределенно долго продолжать свое существование, но уже в выдохшемся, десемантизованном, технизованном виде.¹

¹ Пара сравнений быть может поможет лучшему пониманию того, о чем идет речь. Процесс технизации можно сравнить с переходом от золотых денег к бумажным. Золотая монета имеет двоякий аспект: она и средство обмена и в то же время реальная ценность.

Процесс семантической редукции, специализации и технизации совершается в языке непрерывно и ежечасно и является одним из важнейших моментов языкового развития.¹ Процесс этот идет, во-первых, по линии затемнения сознания существующей между различными элементами речи идеологической связи. Во-вторых, по линии ослабления семантической живости и напряженности отдельных звеньев речи. То и другое влечет за собой небрежное отношение говорящих к звуковой реализации речевых актов и создает предпосылки для фонетического ослабления и перерождения.² Следовательно, здесь мы находим ключ к объяснению различных фонетических явлений. Но этого мало. Самое существование грамматики, как системы, есть прямой результат технизации. В дограмматическом состоянии мы имеем слова-образы и слова-понятия, не дифференцированные ни по функциям, ни по формальным признакам. Каким образом из этой недифференцированной массы вырабатываются грамматические категории, так называемые части речи? Мы можем представлять себе этот переход только следующим образом: каждое слово-понятие, начиная употребляться в коммуникативной практике по преимуществу в одной какой-нибудь функции, семантически суживается и технизуется в этой специфической функции и, таким образом, становится либо именем, либо глаголом, либо местоимением, либо предлогом и т. д., приобретая постепенно все, связанные с этим, логические и формальные характеристики. Так рождается грамматика. Процессу технизации мы обязаны также созданием морфологии. В самом деле, превращение когда-то самостоятельных слов в служебные частицы есть не более, как один из случаев и, пожалуй, наиболее характерный — технизации. А это превращение, как

Точно так же речевое образование в первый период: оно и средство коммуникации и реальная идеологическая «ценность». Чем отличается от золотой монеты бумажный знак? Тем, что он не представляет реальной трудовой ценности, он — только средство обмена. Точно так же речевое образование, прошедшее через десемантизацию и технизацию, оно не имеет уже идеологической ценности, оно — только техническое средство коммуникации.

Еще ближе подводит к пониманию сущности рассматриваемого процесса другое сравнение, сравнение с историей письма. Процесс технизации аналогичен переходу от пиктографического, картинного письма к условному, буквенному. Картинное письмо имеет две стороны: художественную (идеологическую) и коммуникативную (техническую), условное — только техническую. Аналогия с судьбами языка достаточно прозрачная и не нуждается в пояснениях.

¹ Мы ни на минуту не забываем, что наряду с этим основным процессом в языке имеют место постоянно встречающиеся явления, явления частичного семантического оживления, «омоложения» и экспансии отдельных элементов речи. Эти явления мы учитываем и не можем не учитывать. Но наша задача сейчас — выявить генеральную линию языкового развития, а эта генеральная линия определяется, бесспорно, как процесс технизации.

² Об этом еще будет речь впереди.

мы знаем, и обуславливает переход от аморфности к агглютинации и флексии. Перестройка же морфологии необходимо влечет за собой перестройку синтаксиса. Короче, какую бы сторону языкового развития мы ни взяли, мы неизбежно становимся лицом к лицу с процессом технизации, как решающим фактором.¹

Закон социализации и закон преемственности

Процесс технизации влечет два, весьма важных для истории языкового развития, последствия, которые мы, в виду их всеобщего значения в прошлом, будем называть «законами»: закон социализации и закон преемственности.

Закон социализации заключается в следующем. Когда на данной территории оформляется человеческий коллектив, представляющий в общественно-политическом и экономическом отношении единое целое, потребности общества и хозяйства повелительно диктуют создание для всего коллектива единой системы коммуникации. Как удовлетворяется эта потребность при наличии в коллективе нескольких группировок с различными языками? Либо путем смешения входящих в данное социально-экономическое единство языков и образования на этой основе нового, мешаного языка, либо путем экспансии одного из языков и вытеснения им остальных. «Социализация» в путях скрещения характерна для более ранних периодов развития общества. «Социализация» в путях возобладания и экспансии одного из соревнующихся языков (или диалектов) обычна для позднейших эпох, для

¹ Не лишено интереса сравнение языка с другими формами идеологии с изложенной точки зрения. Не подлежит сомнению, что все без исключения формы и виды идеологии подвержены десемантизации. Религиозные воззрения, философские системы, литературные направления, архитектурные стили, произведения скульптуры, живописи и музыки, — все они, пройдя вместе с породившими их общественными классами известный период молодой и полноценной жизни, начинают увядать, десемантизоваться, общество перестает понимать их сокровенную идею, их «душу», их смысл. Но общество может продолжать их хранить еще более или менее долго для чисто внешнего, формального обрамления, украшения или приправы бытия. В чем же различие между языком и другими видами идеологии? В том, что в области других идеологий есть десемантизация, но нет технизации. Раз оторвавшись от базиса, другие идеологические надстройки имеют тенденцию обратиться в чистые идеологии, исключаящие какое-либо техническое их использование. Поэтому для них десемантизация равносильна упадку, увяданию, смерти. В языке же десемантизация не только не знаменует гибели, но становится, напротив, источником более интенсивного технического прогресса. В этом смысле язык сближается с предметами материальной культуры, которые на самых ранних ступенях развития общества окутаны, подобно языку, густым слоем оболочечных, идеологических («магических») представлений и которые, освобождаясь постепенно от этих оболочек, не только не теряют от этого, но напротив в сильнейшей степени выигрывают с точки зрения полноты и интенсивности их технического использования.

классового общества. Данный язык, которому те или иные исторические условия дают перевес над другими, начинает выходить за пределы той группировки, которой он принадлежал, и постепенно становится общенациональным. Следы же прежнего многоязычия долго еще сохраняются в виде диалектов и наречий внутри единого национального языка. При этом сам «социализирующийся» или «национализирующийся» язык не остается самим собой в процессе своей экспансии, он вбирает в себя элементы «поглощаемых» им языков, перестраивается в практике новой общественной функции.

Почему закон социализации связан с технизацией — ясно из всего предшествующего. Для того, чтобы обслуживать разнородные слои, входящие в то единое, что мы называем племенем, этносом, позднее нацией, необходимо, чтобы произошло затемнение и сужение идеологических функций речевых элементов, необходимо чтобы произошла технизация. Национальные языки существуют потому, что существует процесс технизации.¹

Значение закона преемственности явствует из самого названия. Все виды идеологии обладают известной инерцией, которая позволяет им на более или менее долгий срок переживать породившие их условия общественной практики. Но инерция других надстроек — это в огромной степени инерция привычки, инерция традиции. Инерция же языка, это инерция целесообразности, экономии сил, инерция общественно-оправданной и необходимой преемственности.

Если учесть ту огромную роль, которую играет язык в качестве стабильного средства общения в обществе, легко понять, почему общество не может менять свою речь, как перчатки, или, во всяком случае, так же часто, как оно меняет свои воззрения. Технизация языка оказывается в данном случае истинным благодеянием: она экономит обществу силы, она избавляет общество от непосильного труда вновь и вновь переделывать сверху донизу свою речь, она делает возможным то, что язык одной эпохи оказывается пригодным для другой, как благодаря ей же язык одной социальной группировки оказывается способным обслуживать другую. Как идеология — язык социально и исторически ограничен, как техника — он общенационален и преемствен.²

¹ Сказанным ни в коей мере не снимается положение о классовой природе языка, ибо, переставая отражать в себе самой идеологию отдельных общественных групп, языковая техника не перестает быть классовой в том смысле, в каком является классовой всякая техника: по своему использованию.

² Думаю, нет надобности оговаривать, что речь идет об общественной, а не антропологической преемственности.

Каждая новая общественность не может возлагать на себя бремя перестройки заново всей своей речи. Она продолжает пользоваться завещанным языком, но не столько уже как идеологической системой, сколько просто как техникой общения. Новая же идеология находит себе выражение уже не в элементах речи самих по себе, а в связной речи, во фразе, в рассуждении. На смену идеологии, выраженной в самом языке (как идеологической системе), приходит идеология, выраженная с помощью языка (как коммуникативной системы). Если в процессе своего создания язык сам по себе есть некая идеология, то с течением времени он все более становится техникой, техникой для выражения других идеологий, техникой для обслуживания общественной коммуникации.

Видимое противоречие между законом преемственности и бесспорным фактом изменяемости языка находит себе разрешение в простой, несколько наивно звучащей, но совершенно правильной формуле: языку позволено изменяться, но так, чтобы каждое новое поколение могло объясняться с предшествующим.¹ Изменяясь в этих рамках, язык может в 200—300 лет стать неузнаваемым.

Закон преемственности приводит к тому, что даже после распада нации на несколько территориально и хозяйственно независимых единиц, в каждой из последних более или менее долгое время продолжается в основном традиция общенационального языка. Таким образом, между законом социализации и законом преемственности оказывается известное противоречие: закон социализации стремится к тому, чтобы везде и всюду языковые единицы совпадали точно с хозяйственно-политическими, закон преемственности, задерживая темпы перестройки языка при всяких условиях, не дает осуществиться этой «идеальной» картине.

Легко понять из сказанного, чего стоят попытки объяснить полностью современные языковые явления, как надстроечно-идеологические, из современного же социально-экономического базиса. Между тем такие попытки делаются время от времени некоторыми нашими лингвистами. Их бескорыстные усилия разоблачить, скажем, империалистическую сущность английских предлогов или выудить классовую идеологию в синтаксических оборотах писателя трогают своей наивной непосредственностью, но заставляют сожалеть о бесплодно растрачиваемой энергии, которую можно было бы употребить на какое-нибудь общественно-полезное дело. Трудно вообще представить более праздную и безмозглую затею, чем попытка объяснить современное распределение языков на нашей планете, вооружившись одной только

¹ Вспомним, кстати, что письмо тоже преемственно и тоже изменяется.

формулой: язык есть надстройка. Такая задача была уместна в те, весьма отдаленные от нас эпохи, когда языки только возникали и их надстроечная связь с базисом не была еще затемнена процессами технизации. С тех пор утекло много воды, и современная лингвистическая карта земного шара есть уже результат много-тысячелетнего комбинированного действия законов социализации и преемственности, в которых язык раскрывает себя как техника, а не как идеология. Говорить о позднейших стадиях развития языка, игнорируя процесс технизации, все равно, что говорить о движении планет, игнорируя закон тяготения.

Ошибка, в которую впадали и впадают многие, заключается в том, что к языку подходят с узко историческими масштабами, пытаются сделать какие-то выводы о сущности языка на основании языковых фактов, засвидетельствованных на ничтожном отрезке времени в 2—3 тысячи лет. Между тем язык по масштабам времени — явление, если угодно, «геологического» порядка. Первые и решающие шаги на пути создания звуковой речи были сделаны задолго до обозримых исторических эпох. Историческое человечество получило в наследство от прошлого языковой материал, прошедший уже через многочисленные этапы десемантизации и технизации. Огромная масса языкового материала, полученного человечеством от прошлого, возникала и развивалась в эпохи, которые мы принуждены отодвигать все дальше в глубь веков и исчислять не тысячами даже, а сотнями тысячелетий. За эти колоссальные промежутки времени целые пласты речевого материала как бы застывали в своей технической функции и в таком виде доживали до исторических эпох.

Есть нечто общее между судьбами языка и геологическими судьбами земли. Подобно тому, как в истории земли можно наметить два периода, первый — когда преобладали внутренние, горообразовательные процессы, придавшие нашей планете основные черты современного рельефа, и последующий — продолжающийся поныне, когда преобладают процессы денудационные и нивелирующие, так точно и в истории языка, вслед за творческим периодом, когда преобладают идеологически-созидательные процессы, следует период, когда преобладают процессы технически-приспособительные.¹ Оценивая современные языки с точки зрения отражения в их структуре современных же общественных идеологий, мы находим кое-что в семантике и лексике, почти ничего в синтаксисе и ровно ничего в морфологии.

¹ Мысль о двух периодах в развитии языка мы встречаем еще у «основоположников», но она сильно обесценивается тем, что связана у них с представлением об языке, как об организме.

Если как техника язык отрабатывается и обновляется каждый день, то как идеология он основными своими контурами уходит в прошлое и лишь некоторыми элементами — в современность.

Так точно мы видим часто в горах массивные громады первозданных пород, прикрытые тонким слоем позднейших образований.

Технизация как фактор языкового развития

Нигде нищета старой лингвистики не встает в такой жалкой наготе, как в вопросе о причинах изменения языка. Проследившая с величайшей скрупулезностью всевозможные фонетические переходы и чередования, лингвисты обнаруживают полную растерянность, когда заходит речь об объяснении этих переходов и чередований. Одни пытаются найти ключ в географических и климатических условиях; другие — в перемене характера и душевных качеств нации; третьи объясняют фонетическую эволюцию стремлением человека к удобству и легкости в произношении; четвертые говорят, что язык «изнашивается» или «выветривается». Наконец, пятые облегчают себе задачу, пытаясь свалить всю вину на детей, которые, предполагается, начинают вдруг (одновременно и независимо во всей стране) говорить не так, как отцы, а по-своему...

Не собираясь прибавлять к перечисленным теориям еще одну, мы утверждаем только, что вопросы фонетической эволюции и вообще изменения языка ни в коем случае не могут быть рассматриваемы изолированно от семантики.

Если оставить в стороне те процессы, которые являются результатом взаимодействия между двумя языковыми средами (явления субстрата, скрепления и пр.), — нет ни одного фонетического изменения в языке, большого или малого, общего или частного, «закономерного» или «случайного», которое не предполагало бы в качестве необходимой предпосылки, в качестве *conditio, sine qua non* той или иной формы или степени семантического смещения, семантического сужения или семантической редукции.

Внешняя деформация языка есть результат деформации внутренней, семантической. Чтобы расстроить «плоть» языка, достаточно поразить его «душу», его семантику. Пока речь семантически наполнена, насыщена во всех своих элементах, она требует адекватной полноты материального, звукового выражения, ибо всякое уклонение ощущалось бы как нарушение, как ущерб для отчетливо-осознаваемого говорящим семантического содержания. Живая, действенная семантика держит как бы на цепи все элементы

речи, предохраняя их от распада и перерождения. Она, как цемент, скрепляет многообразные части сложного языкового здания. Подобно тому, как дерево на корню поддерживает в каждой своей веточке, в каждом листочке всю полноту свойственного им состава и формы, так речь, имеющая корни в живой общественной идеологии, поддерживает полноту формы во всем своем строе и в каждой отдельной части. И как срубленное дерево, попадая в технический оборот, принимает форму нужных человеку предметов, так язык, оторванный от взрастившей его идеологической почвы, становится ареной игры разнообразнейших сил и влияний, среди которых на первом месте стоят технические нужды общественной коммуникации.

Возвращаясь к существующим в лингвистике теориям фонетических изменений, мы остановимся только на тех из них, которые имеют видимость правдоподобия — именно на теории «удобства» и теории «изнашивания».

Первая теория, наиболее отчетливо сформулированная Curtius'ом и имеющая множество открытых и скрытых сторонников до сих пор, объясняет фонетическую эволюцию языка стремлением говорящих к «удобству произношения», к «экономии сил», к «благозвучию». Мы далеки от того, чтобы отрицать всякое значение за этими факторами, но совершенно очевидно, что эти факторы могут получить силу только при одном условии: при условии более или менее далеко зашедшей уже десемантизации и технизации речи. Если не учесть этого, то как объяснить, что люди столетиями и тысячелетиями говорят не «экономя» сил, «неудобно» и «неблагозвучно» — и чувствуют себя прекрасно, — а потом вдруг спохватываются и начинают переделывать свою речь во имя экономии, удобства и благозвучия? Наконец, если бы удобство, благозвучие и экономия были в сфере языка чем-то реальным и общезначимым, а не пустыми словами, притянутыми для объяснения явлений *post factum*, то сторонники этой теории могли бы взять на себя предсказание направления фонетических изменений в том или ином языке. Они, однако же, от этого благоразумно уклоняются.¹

¹ Фр. Бопп, который, так же, как другие «основоположники», стоит по широте кругозора и разносторонности интересов головой выше большинства последующих лингвистов, отчетливо высказал мысль, что «законы благозвучия» могут получить силу исключительно на почве семантической редукции: «Ich glaube indessen, dass [solche] Wohllautgesetze erst zu einer Zeit ihre volle Kraft gewinnen konnten, als die wahre Bedeutung oder der Grund der Bedeutung grammatischer Formen nicht mehr ganz lebendig ergriffen wurde. — Je weiter die Sprachen von ihrem Ursprunge sich entfernen, desto mehr gewinnt die Liebe zum Wohllaut an Einfluss, weil sie nicht mehr in dem klaren Gefühle der Bedeutung der Sprachelemente einen Damm findet, der ihrem Anstreben sich entgegenstellt ...» (Fr. Bopp. Vergl. Zergliederung

Возражая младо-грамматикам, утверждавшим, что «звуковой закон» не терпит исключения и распространяется в равной мере на все слова, Schuchardt указывал на частоту употребления того или иного слова, как на важный фактор его фонетической редукции. Чем чаще слово употребляется, тем, по мнению Schuchardt'a, оно должно сильнее «стираться», «изнашиваться». Со словами, таким образом, дело обстоит примерно так же, как, скажем, с одеждой (сравнение мое, а не Schuchardt'a): как будничные, рабочий костюм изнашивается скорее, чем праздничный, надеваемый только в торжественных случаях, так слова, которые ежеминутно у всех на устах, стираются быстрее, чем слова, которые лишь несколько раз в год извлекаются из «платьяного шкафа» нашего лексического запаса.

Надо признать, что Schuchardt на этот раз оказывается ниже обычного уровня своих суждений, в большинстве столь метких и проникательных. Частота употребления может вести к «стиранию» слов не всегда, а только в том случае, когда она сопровождается десемантизацией, что вовсе не обязательно. Такие слова, как слово «деньги» для торговца, слово «земля» для крестьянина, гарантированы от семантического, а, следовательно, и фонетического ослабления, как бы часто они ни употреблялись. С другой стороны, никакая частота употребления не может объ-

des Sanskrits und der mit ihm verwandten Sprachen, I (Wurzeln und Pronomina). Abh. d. Berl. Akad. Phil.-hist. Klasse, Jahrgang 1824, стр. 119.

Ту же мысль повторяет А. Schleicher: «Das Sprachgefühl ist der Schutzgeist der sprachlichen Form; in dem Maße wie er weicht und zuletzt ganz schwindet, bricht das lautliche Verderben über das Wort herein. Sprachgefühl und Integrität der lautlichen Form stehen also in geradem, Sprachgefühl und Lautgesetze, Analogie, Vereinfachung der sprachlichen Form in umgekehrtem Verhältnisse zu einander» (Die deutsche Sprache, стр. 64—65).

Выше мы сравнивали переход от идеологическо-технического использования речи к техническому с переходом от изобразительного письма к условно-буквенному. Продолжая это сравнение, мы получим хорошую иллюстрацию к несостоятельности теории «удобства». Раз знаки письма перестают изображать реально существующие предметы и получают чисто условный смысл, тщательность рисунка теряет свое значение, и пишущий получает известный простор для проявления своей индивидуальной манеры письма — того, что мы называем почерком. При этом каждый для себя считает именно свой почерк наиболее удобным, а не какой-нибудь другой. Совершенно так же, благодаря процессу десемантизации, ослабевают частично стимулы к отчетливому каноническому выполнению звукового «рисунка» речи, и отдельные языковые среды используют открывающуюся при этом весьма относительную, конечно, свободу для выработки собственной речепроизводительной манеры речевого «почерка», который, естественно, представляется говорящим самым удобным из всех возможных. Но такого произношения, которое можно было бы считать удобным вообще, для всех случаев, так же не существует, как не существует удобного для всех почерка.

Другое дело, что в развитии почерков наблюдаются некоторые общие тенденции, облегчающие технику письма, например, стремление писать, возможно реже отрывая руку. Аналогичные общие тенденции можно наблюдать, несомненно, и в развитии любого языка.

яснить, скажем, исчезновения на конце «г» в «спасибо», если не допустить предварительного смыслового ослабления этого выражения, благодаря которому в нем перестало осознаваться слово «бог».

Иначе говоря, принцип «изнашивания», как и принцип «удобства» может получить значение только на фоне технизации.

Совершенно так же обстоит дело вообще со «звуковыми законами». «Звуковые законы» или чередования могут быть, прежде всего, результатом смешения между двумя языковыми средами, когда материал одного языка начинает артикулироваться средствами другого, следствием чего бывает полное смешение звуковой системы, воспринимаемое в исторической перспективе, как «звуковой закон». Эти случаи не нуждаются в особом объяснении.

Но «звуковой закон» может явиться также в результате обобщения отдельных звуковых перебоев в процессе технизации. Каким образом?

Процесс технизации несет в себе, что ясно без лишних слов, могучую унифицирующую тенденцию, которой живое семантическое сознание сопротивляется. Пока это сознание достаточно сильно, в языке возможны только единичные, спорадические изменения отдельных слов, форм и т. д., подвергшихся семантическому ослаблению. Со временем, когда десемантизация распространяется на значительную часть языкового материала, унифицирующая тенденция сокрушает все препятствия на своем пути, отдельные звуковые перебои разрастаются до степени «звукового закона», образования по аналогии становятся обычным явлением, язык все более стремится стать системой.¹

Явления унификации в технизирующей речи имеют место не только в области фонетики. Морфология и вся вообще структура любого современного или исторического языка — есть в огромной степени результат длительного и непрерывного действия унифицирующих процессов, развивающихся на фоне десемантизации и технизации языкового материала.

¹ В статье об осетинском ударении (ДРАН, 1924, стр. 252) я указывал, что в современном осетинском языке наблюдается тенденция ударять второй от начала слог предпочтительно перед всяким другим, но что тенденция эта одержала полную победу только в одной категории слов: в личных собственных именах. В свете изложенных выше соображений становится очевидным, почему именно собственные имена стали первой жертвой акцентуальной унификации. Без сомнения потому, что они обладают минимумом семантической жизни.

По этой же причине в новейших русских сокращенных лексических образованиях, типа «Совнарком», представляющих яркий случай десемантизации и технизации, вырабатывается на наших глазах постоянное ударение на последнем слоге. Здесь мы проникаем в самую «тайну» возникновения звуковых законов.

Известно, какое большое значение в развитии языка придают лингвисты действию аналогии.¹ У нас нет оснований отрицать значение этого фактора. Но теория аналогии страдает тем же пороком, что теория «удобства» и «изнашивания»: она принимает вторичные явления за первичные. Для того, чтобы данная форма подверглась ассимилирующему влиянию другой, необходимо чтобы у говорящих ослабело сознание необходимой и неразрывной связи между старой, исторически-правильной формой и ее содержанием. При каком условии имеет место такое ослабление? При условии десемантизации, технизации. Всевозможные явления упрощения, унификации, аналогических образований, равно как фонетические явления ослабления, «выветривания», экономии произносительных усилий и т. д., все они могут оказать заметное влияние на язык исключительно на почве технизации. Деформирующие и унифицирующие тенденции, как коварные враги, подстерегают язык со всех сторон, и стоит на какомнибудь участке ослабеть семантической бдительности, как, откуда ни возьмись, являются на сцену и «Bequemlichkeit», и «выветривание», и аналогия.

Совокупное действие этих факторов приводит к тому, что язык приобретает с формальной стороны все более стройный, системообразный облик. Язык не рождается системой. Он уподобляется ей в процессе технизации. Системообразность языка пропорциональна его технизации.

Так как системообразность языка, с точки зрения технического его использования, есть плюс, а не минус, то мы с необходимостью приходим к выводу, попутно высказанному уже выше: десемантизация речи, отказ от использования языковой системы, как идеологической, не только не означает его упадка, но, напротив, способствует его техническому прогрессу. Мы не знаем языков (если не считать искусственных), где система была бы выдержана до конца, сверху донизу. Во всяком языке есть известное число «зlostных» элементов, которые продолжают сопротивляться обобщающим тенденциям и отстаивать свой индивидуальный облик. Они то и фигурируют в наших грамматиках под названием «исключений» или «неправильных» форм.

Приходится думать, что первозданные языки состояли из одних исключений.

Когда мы говорим, что язык уподобляется некоей системе, не следует думать, что речь идет о какой то последовательной и выдержанной

¹ Действие аналогии в языке выражается в том, что одна форма конструируется по образцу другой, наперекор исторической грамматике.

логической системе. Всякие попытки логизировать грамматику неизменно кончаются крахом, безразлично, идет ли речь о примитивном или ультрацивилизованном языке. Оно и понятно. На любом языке можно убедиться, что унифицирующие и систематизирующие процессы, о которых была речь выше, идут сплошь и рядом по линии «формальных» (технических), а не логических признаков. Такое положение с необходимостью вытекает из самого существа того явления, которое мы называем технизацией. Технизация не обусловлена отнюдь потребностью дать в грамматической структуре непосредственное и адекватное отражение новых норм мышления и мировоззрения в противовес прежним. В процессах технизации, если к ним внимательно присмотреться, сказывается больше незаинтересованность в старой идеологии, чем заинтересованность в какой то новой. Эти процессы знаменуют не переход от одной логической системы к другой, а отказ от использования грамматики в качестве средства выражения той или иной общественной идеологии как логической системы. Новые общественные идеологии, как мы уже указывали выше, находят свое выражение не в языковой структуре, как таковой, а в развернутой речи, в целых высказываниях: на смену идеологии, выраженной в языке, приходит идеология, выраженная с помощью языка.

Если, скажем, первобытные языки стремятся в грамматических формах отразить классификацию объектов в согласии с мировоззрением той стадии (с помощью местоименных аффиксов, грамматического класса, различных именных и глагольных форм и т. п.), а новые языки, десемантизуя и вовсе утрачивая старые классификации, не создают никаких новых, то из этого вовсе не следует, что современному мышлению стала совершенно чужда потребность классификации объектов, что для него все объекты равноценны и равнозначны. Вовсе нет. Напротив, классификации стали несравненно сложнее и многообразнее, как сложнее и многообразнее стали общественные отношения и познавательные способности человека. Но именно в силу своей сложности и многообразия эти классификации уже не могут находить адекватное отражение непосредственно в языковой структуре, ибо язык, отягощенный столь большой и сложной идеологической нагрузкой, оказался бы несостоятельным в своей технической функции общенационального и преемственного орудия коммуникации. Новые классификации перемещаются поэтому из сферы языковой структуры в сферу развернутых форм речевой деятельности, науки, философии и пр.

Не только современно-логической системы, отраженной в грамматике, мы не находим ни в одном языке, но мы не находим также ни в одном языке первобытной логики, первобытного мышления в «чистом» виде.

Процесс технизации стал действовать в языке с первых же дней, как только речь получила коммуникативные функции, и самые примитивные языки дают уже картину многократных компромиссов между пробивающейся через языковую структуру идеологией и неумолимыми законами технизации. Каждый язык в своей грамматической и лексической структуре влачит в десемантизованном виде обрывки и ключья мировоззрений прошлого, в сильнейшей степени искаженные, замаскированные и перепутанные процессами технизации. В тайники этих ушедших мировоззрений нас вводит один лишь палеонтологический анализ.

Вполне естественно, что перед лицом обрисованной картины оказываются одинаково несостоятельными и формальная грамматика и логическая. Язык, как живая познавательная система, должен быть (в теории!) строго логичен. Для языка, как традиционной коммуникативной системы, это отнюдь не обязательно. Реально существующие языки представляют бесконечно нестройную картину разных форм и степеней компромисса между логически-познавательными и формально-техническими категориями. Понятно, также, почему перманентный конфликт между логической и формальной грамматикой не может быть разрешен в рамках старого языкознания. Единственный путь разрешения этого конфликта — это подлинный, до истоков речи идущий историзм, историзм единого глоттогонического процесса.

Техническая сторона языковой жизни требует от нас самого пристального внимания; исторические языки, как и первобытные, знают коренные сдвиги в своей структуре. Но было бы ошибкой за всеми этими сдвигами усматривать коренные сдвиги в мышлении, мировоззрении. Помимо сдвигов и закономерностей языковой идеологии существуют сдвиги и закономерности языковой техники, которые нетрудно отличить от первых хотя бы потому, что в них неизменно выявляются некоторые общие и постоянные тенденции, независимые от языка, эпохи и общественно-экономических формаций. Общественные сдвиги в этом случае играют лишь роль толкачей и ускорителей технизационных процессов.

Порок „индоевропеистики“

Индоевропейская лингвистика, с точки зрения всего вышеизложенного, встает перед нами в новом свете. Она представляет собой науку о технизованных формах речи, не осознающую исторической обусловленности этих форм. Мы указывали выше, что то, что в языке напоминает формальную систему, есть результат технизации. Индоевропеистика с особой нежностью относится ко всему, что в языке напоминает систему. Напротив,

на «исключения», на «иррациональные» явления она смотрит как на опасный элемент, могущий быть источником всяких неприятностей. Мы знаем, что как раз этот «опасный элемент» оказывает неоценимые услуги, когда речь идет о генетических вопросах.

Надо было случиться, что лингвистика, как наука, выросла на материале языков, которые вошли в историю в высоко технизованном виде. В итоге мы и получили колоссальное, но бесперспективное сооружение индоевропеистики, увенчанное бесподобной младограмматической школой.

Языковая техника, как мы уже указывали, имеет свои закономерности. В установлении этих закономерностей (в особенности в области фонетики) и лежит добрая доля заслуг индоевропейской лингвистики. Беда индоевропеистики не в том, что она плохо справилась со своим материалом, — она с ним справилась во многих отношениях прекрасно. Беда ее в том, что законы и положения, установленные на одной семье языков, представляющей не более, как крошечный отрезок глоттогонии, она склонна возвести в вечные и неизменные законы человеческой речи. Совершенно так же, как слабость до-Марксовской политической экономии не столько в том, что она плохо разбиралась в законах капиталистической экономики, сколько в том, что законы капиталистического общества она склонна была возвести в вечные и неизменные законы природы.

Легко видеть, что именно отсюда происходят все «качества» индоевропеистики.

Когда мирные темпы развития языка сменяются революционными

Признав, что корни языковых изменений скрыты в тайниках семантики и что, следовательно, темп языковой эволюции зависит от темпа процессов, совершающихся в языковой семантике, легко понять, что всякие крупные перемены в жизни общества: междугрупповое смешение, переворот в хозяйстве, глубокие общественно-политические потрясения и сдвиги, изменение классовой структуры общества, — все это сопровождается катастрофическими последствиями для языка. Наступающая в результате подобных событий «переоценка ценностей» приводит к тому, что множество семантических отношений и связей, живых и полноценных для старого поколения, оказываются для нового безразличными, непонятными, частью даже чуждыми и враждебными. Происходит процесс массовой десемантизации языкового материала, на фоне которой получают широкий простор деформирующие и унифицирующие влияния в фонетике и морфологии. По-

следние, в свою очередь, могут (в результате, скажем, стирания флексий, обобщения специфических прежде форм и т. п.) повлечь за собой коренную перестройку всей языковой структуры.

Параллельно с разрушением старого материала идет частичная волна речевого новаторства, что еще более углубляет пропасть между старым и новым.

Когда имеешь дело исключительно с высококультурными языками, где политическая централизация и многовековая письменность из дня в день регламентирует канонические языковые нормы и тем самым сковывает и тормозит языковое развитие, трудно даже составить представление о тех колоссальных сдвигах, которые могли претерпевать, в относительно короткое время, языки примитивные и бесписьменные.

Язык будущего

Язык будущего человечества нельзя представлять себе иначе, как языком предельной технизации. Выдержанная сверху донизу система, максимальная простота при максимальной гибкости и разнообразии средств выражения, ликвидация пережиточного «полисемантизма», фонетическая и семантическая дифференцированность и точность — таковы черты языка, призванного выполнять ответственную функцию: быть совершеннейшей техникой коммуникации в бесклассовом обществе.

Организовать и направить по правильному руслу это исторически неизбежное движение — такова задача всякой рациональной языковой политики.

Послесловие

Мне был задан вопрос, в каких отношениях стоит учение о технизации к другим положениям нового учения о языке. Я считаю, что учение о технизации является неотъемлемой составной частью нового учения, необходимым моментом его неуклонного диалектического развития. На известном этапе «яфетическая» теория развивалась по преимуществу, как отрицание, как отрицание индоевропеистики, как отрицание формального компаративизма. Это отрицание вылилось в форму палеонтологии речи. С учением о технизации яфетическая теория подымается на новую ступень, на ступень отрицания отрицания. Иначе говоря, если сравнительная грамматика есть тезис, палеонтология речи — антитезис, то учение о технизации — синтез. Палеонтология речи разрешает одну сторону вопроса — генетическую, учение о технизации другую — развитие речи в ком-

муникативную систему. Взятые в единстве, палеонтология речи и учение о технизации образуют цельную и законченную лингвистическую концепцию.

Изложенные на предыдущих страницах соображения не претендуют на значение какого-либо нового открытия. В высказываниях Н. Я. Марра о функциональной семантике, о происхождении грамматических категорий заложены все существенные элементы учения о технизации. Без учета технизации нельзя сделать и шагу в работе над языком в историческом разрезе. Процесс технизации был известен давно. Недоставало только, чтобы было произнесено самое слово «технизация». В этом, собственно, и заключается моя «заслуга».

С. Л. ВЫХОВСКАЯ

«Пассивная» конструкция в яфетических языках

Так наз. «пассивная» конструкция переходного глагола в яфетических языках представляет во многих отношениях большой интерес. В различных яфетических языках она представлена с таким богатством и разнообразием, что дает возможность проследить ее движение, дает возможность проследить разные стадии ее развития, освещая попутно и один из важнейших общих вопросов общего языкознания, вопрос о роли в развитии языка закономерностей самого языка. Кроме того, с вопросом о пассивной конструкции теснейшим образом связан и вопрос о развитии глагола, о склонении, о сущности падежей именительного и винительного, с чем в свою очередь увязывается вопрос о грамматическом классе.

Настоящая работа является только началом большой работы о развитии глагола и в ней затрагивается одна из самых важных в этом отношении проблем, проблема о субъекте и прямом объекте переходного глагола. По этому вопросу существует обширная литература, но мы не касаемся ее в деталях, чтобы не увеличивать размеры статьи, и останавливаемся только на более поздних работах Uhlenbeck'a и Trombetti. Детальному разбору литературы будет посвящена особая статья.

«Пассивная» конструкция переходного глагола свойственна целому ряду языков помимо яфетических: северо-американским, палеоазиатским, индокитайским, тибетскому, папуасско-австралийским; из индоевропейских языков эту же конструкцию имеют языки персидский, санскрит, новоиндийские.¹

В настоящей работе мы остановимся только на языках яфетической системы, привлекая северо-американские языки только в качестве вспомогательных для освещения вопроса.

¹ A. Trombetti. *Elementi di glottologia*. Bologna, 1923, стр. 264. — A. Dirr. *Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen*. Leipzig, 1928, стр. 76.

Особенность разбираемой конструкции в яфетических языках заключается в том, что при переходном глаголе логический субъект стоит не в именительном, а в косвенном падеже: или особом активном падеже, как это имеет место в громадном большинстве языков; или в родительном — так в лакском, халдском; или в творительном-орудивном — так в большинстве языков дагестанских.

Логический объект стоит не в винительном падеже, а в именительном.

ПРИМЕРЫ

I. Логический субъект в активном падеже:

1) Баскский язык:

gison-a-k libugu da-kar
'человек' (акт. п.) 'книга' (имен. п.) 'то-несет' ['он']: 'человек несет книгу'.

Субъект gison-a-k 'человек' в активном падеже. (показатель-k); логический прямой объект libugu 'книга' в именительном падеже.

2) Грузинский язык:

kaŭ-taŋ igem-i mo-h-kla
'человек' (акт. п.) 'олень' (имен. п.) 'он — убил': 'человек убил оленя'.

Здесь логический субъект kaŭ-taŋ также в активном падеже (показатель — taŋ, в современном грузинском -та, -т), логический прямой объект igem-i — в именительном падеже.

Эта конструкция употребляется в грузинском языке во временах второй группы (в аористных временах).

II. Логический субъект в родительном пад.

3) Лакский язык:

tuł usuyn bagn-al ʒur duldundi
'Мой' 'брату' 'бек' (акт. п.) 'сабля' (имен. п.) 'дал':
'бек дал моему брату саблю'.¹

bagn-al логический субъект — в родительном пад., ʒur логическое прямое дополнение в именительном пад.

III. Логический субъект в орудивном (творительном) пад.

Табассаренский язык:

ıʒu Suleiman-di hæʷnuʒa
букв.: 'мы' (имен. п.) 'Сулейман' (оруд. п.) 'послал'² 'Сулейман нас послал'.

¹ A. Dirr. Ук. соч., стр. 251.

² Ibid., стр. 275.

Suleiman-di логический субъект — в творительном пад. (показатель-di)
 iñi логический прямой объект — в именительном пад.

При аффиксации к глаголу местоименных показателей субъекта и прямого объекта местоимение-субъект, в одном из 3-х лиц по крайней мере, в некоторых языках выражается иным показателем, чем местоимение-прямой объект, причем последний совпадает с показателем субъекта переходного глагола. Приведу пример из баскского языка:

Ni-k liburu da-kuñ-a-t: 'я вижу книгу',
 букв.: 'я' (акт. п.) 'книга' (имен. п.) 'го-вид-я'.

Здесь ni-k местоимение 1-го л. в уже известном нам активном пад., liburu — прямое дополнение в именительном пад., da-местоименный элемент-прямой объект 3-го л., -t местоименный элемент-субъект при переходном глаголе.

n-a-kañ-su 'меня несете Вы', букв.: 'я-нес-Вы'.

Здесь n-a-местоименный элемент-прямой объект, -su местоименный элемент-субъект переходного глагола.

Таким образом местоимение 1-го лица, являющееся здесь прямым объектом, выражено другим местоименным элементом, чем местоимение 1-го лица-субъекта: в то время как субъект выражен показателем -t, прямой объект выражен показателем n-. Тот же показатель n- используется в качестве субъекта глагола непереходного: n-a-bil 'я иду', т. е. субъект непереходного глагола = прямому объекту глагола переходного и противопоставляется субъекту глагола переходного. Эта особенность сохранилась в баскском языке только для 1-го лица единственного числа; но если в 1-м и 2-м лицах единственного числа и всех трех лицах множественного числа местоименные показатели общи для субъекта переходного глагола, прямого объекта переходного глагола и субъекта непереходного глагола, то разница между ними все же выражается разными оформлениями: в первом случае -u, во втором -a или -in || -en.

Разными же показателями, но только для 3-го лица, отличается и абхазский язык. Причем отметим, что в тех языках, в которых нет формального склонения, как в абхазском и многих северо-американских языках, только эти особенности в местоименных показателях и дают возможность заключать о наличии в них «пассивной» конструкции.¹ Абхазский,

¹ См. Uhlenbeck. Le caractère passif du verbe transitif... Revue des Études basques, XIII, 1922, passim.

язык различает два класса: класс социально-активных (по Услару — существ разумных)¹ и класс социально-пассивных (по Услару — существ неразумных). Класс социально-активных в свою очередь делится на роды, мужеский и женский. Эти классы имеют особые показатели:

Класс социально-активных:		Класс социально-пассивных:		Показатели во множ. числе общие для обоих классов
Муж. р.	Женск. р.			
1 л. s	s	s		
2 л. w	b	w		
3 л. d, 1	d, 1	1, a		

d-1-fwoyt: d- 'его (из класса социально-активных) -1- он (социально-активный) -fwoyt (ест)'. .

də-1-fwoyt: də- 'его (социально-активного), -1- она (социально-активная) — -fwoyt (ест)'. Как видим, субъект и объект выражаются разными местоименными показателями: объект d- || də-, субъект -1- || -у- для мужеского рода, -1- для женского. Эта же особенность имеет место и при субъекте и объекте из класса социально-пассивных, заменяясь соответственно показателями 1- || у- и а-. При непереходном глаголе субъект выражается местоименным показателем d, если субъект относится к классу социально-активных, и 1 || у, если он относится к классу социально-пассивных:

də-kowp 'он есть' (соц.-акт.), də-twoyt 'он идет' (соц.-акт.).

1-kowp 'он есть' (соц.-пасс.), 1-twoyt 'он идет' (соц.-пасс.).

Таким образом в абхазском языке мы отмечаем то же явление, как и в баскском, но не для 1-го лица, а для 3-го. То же явление имеет место и в северо-американских языках.²

Как на доказательство пассивности этой конструкции сторонники ее ссылаются на согласование глагола с местоимением — объектом. Но об этом ниже.

На основании этих особенностей конструкции переходного глагола, особенно первой из них, т. е. постановки субъекта в «косвенном» пад., а прямого объекта в именительном, утверждается пассивность этой конструкции.

Здесь приведены были наиболее простые формы так наз. «пассивной» конструкции. В действительности же имеется ряд более сложных случаев,

¹ Этнография Кавказа, I. Абхазский язык. Тифлис.

² Uhlenbeck. Ук. соч.

которые заставляют А. Dirr'a сказать:¹ «Man sieht das Problem ist äusserst verwickelt und ich erkläre mich ausser Stande es zu lösen. Statt von passiver Konstruktion zu sprechen, werde ich die Ausdrücke Ergativ-Konstruktion (das logische Subjekt steht im Erg.), Datif- oder Affectif-Konstruktion (das log. Subjekt steht im Dat. oder Affekt., mir-lieb-ist = ich liebe), und Nominatif-Konstruktion sprechen (das log. Subj. steht im Nom. = ich gehe, ich schlafe)». Отметим мимоходом, что А. Dirr напрасно еще больше усложняет дело, привлекая сюда и глаголы с «субъектом» в дательном падеже, сюда не относящиеся. Еще более пессимистично настраивает эта конструкция итальянского лингвиста А. Trombetti:² «La costruzione e tale che, ache dopo reiterati studi del lavoro di Schuchardt sono lungi dal veder chiaro nelle congerie dei fatti». Эта сложность и запутанность, заметим, не мешает, однако, А. Trombetti быть ярым противником ее пассивности.

Особенность этой конструкции была в свое время отмечена гениальным исследователем кавказских яфетических языков К. Усларом.³ Fr. Müller особо отметил пассивность конструкции баскского глагола, но больше всего работал в этой области Н. Schuchardt, статья которого «Über den passivischen Charakter des Transitivs in den kaukasischen Sprachen»⁴ считается едва ли не классической в этом отношении. Большинство новейших исследователей примыкает к позиции Шухардта, не исключая и автора книги *Das kharthvelische Verbum*, Leipzig, 1931, Deeters'a. Из старых работ этой конструкции посвящена работа Stempf'a, но ее нам не было возможности достать. Сторонником же пассивности этой конструкции является и голландский лингвист С. С. Uhlenbeck, на цитированную выше работу которого придется часто ссылаться в дальнейшем. В общем можно считать общепринятым мнение о «пассивности» этой конструкции; противников этого взгляда очень немного, и в числе их ныне покойный F. N. Finck, а также недавно скончавшийся уже упоминавшийся итальянский лингвист А. Trombetti.

Решающим моментом в признании разбираемой конструкции пассивной является постановка субъекта не в именительном падеже, а в косвенном, а прямого объекта не в винительном падеже, а в именительном, т. е. расхождение этой конструкции с конструкцией действительного залога в индоевро-

¹ Dirr. Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen, Leipzig, 1928, стр. 75—76.

² Elementi di glottologia, Bologna, 1923, стр. 284.

³ Этнография Кавказа. Абхазский язык. Тифлис, 1887.

⁴ Sitzungsberichte d. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl., 1895.

пейских языках и мнимое сходжение ее со страдательным залогом в этих же языках — в самом деле, субъект стоит в косвенном падеже, прямое дополнение — в именительном — совсем как в страдательной конструкции. Но здесь, прежде всего, приходится внести существенную поправку, именно, указать на совершенно произвольное отождествление активного падежа с падежом творительным, на что язык не дает никакого права, и потому столь же произвольным является и обычный буквальный перевод этой конструкции на индоевропейские языки как пассивной: нет никаких данных переводить баскское предложение: *Nik hburu dakuinat* как «Мною видится книга», так как субъект *nik* стоит не в орудивном пад., а в активном. То обстоятельство, что в некоторых языках субъект стоит в этом падеже, еще ничего не доказывает, так как имеются языки, в которых субъект переходного глагола стоит в родительном падеже.¹ О причине использования орудивного падежа в качестве активного речь будет ниже. Совершенно очевидно, что решающую роль в определении этой конструкции как пассивной имела неспособность отделаться от традиционной грамматики и от «индоевропейских очков».

По мнению А. Trombetti² конструкция эта вовсе не пассивная, а эмфатическая активная, и показатель активного падежа есть личное местоимение, подчеркивающее роль субъекта; со свойственной ему наивностью он замечает, что само собою понятно, что на вопрос «кто делает?», отвечают с большей энергией, чем на вопрос «кто спит?», т. е. в первом случае должно быть имя — эмфатическое местоимение. Не говоря уже о том, что можно, в зависимости от ситуации, отвечать с одинаковой и даже большей энергией на второй вопрос, чем на первый, следует отметить, что нет фактов, показывающих, что окончание активного падежа сводится к местоимению (так, в баскском языке, в котором имеются эмфатические местоимения, они не используются, однако, в качестве показателя активного пад.). Не спасает положения и то обстоятельство, что в грузинском языке показателем активного падежа является местоимение 3-го л. *-ma* (совр. груз. *-ma*, *-m*), так как это местоимение все же оформлено показателем *-an* или *-a*, следовательно вопрос об активном пад. остается открытым. Точно так же открытым же остается и вопрос, почему же прямое дополнение стоит в именительном пад., а пока этот вопрос не разрешен, теория пассивности не может быть опровергнута А. Trombetti, исходя из его позиций. Пытаясь опровергнуть другое якобы

¹ См. выше, стр. 58.

² Ук. соч., стр. 264.

подтверждение пассивности конструкции — различие в местоименных показателях для субъекта и объекта, Trombetti справедливо замечает, что субъект должен выражаться другим местоимением, чем прямой объект. Подходя таким образом как будто близко к истине, он, однако, сворачивает с верного пути, доказывая, что субъект воспринимается как нечто одушевленное, объект — неодушевленное. Дело здесь, конечно, не в одушевленности или неодушевленности, а в активности и пассивности, о чем речь будет ниже. Кроме того, он должен объяснить, почему прямое дополнение стоит не в винительном, а именительном падеже. Наконец, третье его возражение основывается на согласовании глагола с субъектом, а не с объектом. Это возражение лишний раз доказывает, что А. Trombetti, пользуясь языками всего мира, не знал, собственно говоря, ни одного из этих языков. Он указывает, что если бы данная конструкция была на самом деле пассивной, то показатели множественности в глаголе должны были бы согласоваться с объектом, а не с субъектом, и приводит пример грузинского аориста,¹ где при логическом субъекте во множественном числе имеется показатель множественности:

Единств. число		Множ. число	
v-a-шен-е	‘я построил’	v-a-шен-е-ფ	‘мы построили’
а-шен-е	‘ты построил’	а-шен-е-ფ	‘вы построили’
а-шен-ა	‘он построил’	а-шен-ე-s.	‘они построили’

Действительно, во втором случае имеются показатели множественности -ფ и -s, но это ровно ничего не доказывает, или, вернее, доказывает неосведомленность А. Trombetti в том, что в яфетических языках в глагол аффиксируются показатели множественности субъекта и объекта, так же, как и самые субъектные и объектные аффиксы, — именно, при множественном числе логического объекта при глаголе имеется показатель множественности и логического объекта, так что приведенная им парадигма должна принять следующий вид:²

Единств. число			
v-a-шен-ე-ნ	(-н мн. ч. объекта)		‘я построил их’
а-шен-ე-ნ	»	»	‘ты построил их’
а-шен-ნ-ა	»	»	‘он построил их’

¹ Ук. соч., стр. 283.

² N. Marr. La langue géorgienne. Paris, 1931, стр. 481 (paradigme LXXII).

Множ. число

v-a-шен-n-e-ḡ	‘мы построили их’
a-шен-n-e-ḡ	‘вы построили их’
a-шен-n-e-s	‘они построили их’

Так же обстоит дело и в баскском языке:

da-ra-ma	‘его уносит [он]’	
da-ra-ma-tza	‘их уносит [он]’	(-tza показатель множественности логического объекта),
da-ra-ma-tza-te	‘их уносят [они]’	(-te показатель множественности логического субъекта)

И в баскском и в грузинском языках глагол изменяется в зависимости от числа как логического объекта, так и логического субъекта, и возражение А. Trombetti основано таким образом на недостаточном знании привлекаемых им языков, с другой стороны, это утверждение является плодом все тех же «индоевропейских очков», через которые индоевропейцы глядят на весь многообразный мир языков; действительно, в индоевропейских языках дело обстоит так, что число глагола согласуется с грамматическим субъектом:

я строю дом,
мы строим дом,

и

я строю дома,
мы строим дома

где форма глагола изменилась только в зависимости от изменения числа грамматического субъекта и не изменилась, несмотря на изменение грамматического объекта. Это отсутствие согласования в числе с грамматическим объектом есть только частный случай того, что в индоевропейских языках местоимение-объект не аффиксируется к глаголу. Если бы А. Trombetti учел это обстоятельство, то он не мог бы выставить свое возражение. Указываемый им факт не может говорить, таким образом, ни в пользу пассивности конструкции, ни против этого. Таким образом все три возражения А. Trombetti против пассивности конструкции отпадают.

Но этим мы отнюдь не хотим сказать, что разбираемая конструкция является пассивной. Мы указываем только, что опровержения А. Trombetti не достигают цели.

К вопросу следует подойти иначе, и именно начать с того главного пункта, на который опираются сторонники пассивности (стр. 59—60): как уже говорилось, основное их доказательство заключается в том, что логический субъект стоит в косвенном падеже, а логический объект — в именительном. Выше уже указывалось на произвольность сопоставления активного пад. с Instrumentalis'-ом-Ablativ'-ом, но ничего не говорилось о постановке логического объекта в именительном падеже. Так как центр тяжести именно в этих «косвенном» и «прямом» падежах, то для того, чтобы разобраться в этой конструкции необходимо остановиться на том, что же в конце концов означает этот унаследованный нами от греков мираж «косвенности» и «прямоты» падежей, т. е. что выражается именем, когда оно имеет в предложении форму чистой основы, не осложненной никаким падежным показателем, и что выражается им, когда оно осложнено особым падежным показателем. Не касаясь всех падежей, мы остановимся на том падеже, который нас здесь интересует, т. е. на падеже логического субъекта.

Мы утверждаем, что особый показатель при имени в данном случае, т. е. при так наз. «пассивной» конструкции переходного глагола в яфетических языках, обозначает действительность понятия, его активность, в отличие от именительного пад., не имеющего особого показателя: выражение понятия, одним его названием без особых показателей есть только наименование понятия, наименование, указывающее только на то, что данный предмет существует — и больше ничего. Для того, чтобы показать, что данный предмет действует, необходимо придать ему особый показатель, показатель его активности. Показатель активного пад. и является этим показателем.

Для доказательства этого положения мы остановимся на достаточно хорошо известном факте, именно, на том, что средний род 3-го склонения в ряде индоевропейских языков, в частности, в латинском и греческом, не имеет никакого показателя для именительного пад., например, лат. *caput* 'голова', *genus* 'род' и т. д., греч. *κῆρ* 'сердце', санскр. *kṣar* 'ночь' и т. д. Имена среднего рода других склонений, имеющие окончание -*um* (в лат.), -*ov* (в греч.), несколько не меняют дела, так как -*um* и -*ov* вовсе не являются показателями именительного падежа, так как ими же оформляется и падеж винительный, следовательно, оформляя два противоположных падежа, они не могут быть показателями ни того ни другого и являются таким образом совсем не падежными показателями. Таким образом оказывается, что средний род не имеет особого показателя для именительного падежа, т. е. падежа, в котором ставится субъект действия в индоевропейских

языках. На это обстоятельство давно уже указано было голландским лингвистом С. С. Uhlenbeck'ом в статье в *Indogermanische Forschungen*, 1901 г., т. XII, стр. 170—171: «*Agens und Patiens der indogermanischen Sprachen*». В этой статье С. Uhlenbeck указывает, что словам мужеского и женского рода свойственно в индоевропейском языке окончание -s, при отсутствии этого окончания во всех категориях имен среднего рода. Отсутствие этого показателя в именах среднего рода объясняется тем, что они, обозначая предметы неодушевленные, не могут быть действителями, и потому не могут иметь показателя именительного падежа, падежа субъекта. Из этого он делает вывод, что некогда в индоевропейском языке имела такая же пассивная конструкция, какая в настоящее время налична в языках баскском и северо-американских.

Нельзя согласиться с С. С. Uhlenbeck'ом в том, что категория грамматического рода восходит к классификации предметов по одушевленности и неодушевленности, чему противоречит целый ряд фактов в индоевропейских языках, напр., такие слова, как русское «дитя», нем. «das Kind», «das Pferd», и множество других одушевленных предметов среднего рода, факты, которые могут объясняться только классификацией по принципу социальной активности и социальной пассивности, на что давно уже указано акад. Н. Я. Марром.

Но с С. С. Uhlenbeck'ом нельзя не согласиться в его утверждении, что именительный и винительный падежи индоевропейских языков восходят к активному и пассивному падежам, и что, следовательно, конструкция глагола этих языков восходит к такой же, как конструкция глагола в баскском и северо-американских языках. Совершенно непонятно, однако, каким образом на основании этих фактов С. С. Uhlenbeck может считать эту конструкцию пассивной в то время, как именно на основании приводимых им фактов следует сделать вывод об активности этой конструкции. В самом деле, если он утверждает, что только категория одушевленных (по нашему — социально-активных) предметов может быть субъектом действия, то ясно, что речь может идти только о самостоятельном действии, так как орудием действия может быть любой предмет, одушевленный ли он или неодушевленный. Но С. С. Uhlenbeck не замечает здесь противоречия. Не замечает он его и в другой, позднейшей статье,¹ в которой он пытается объяснить психологически эту мнимо-пассивную конструкцию:

«*Les primitives sentent dans l'agent propre une force cachée. Celle-ci se manifeste par l'intermédiaire de l'agent apparent, l'instrument*

¹ Указ. соч. в *Revue des Études basques*, 1922, стр. 417.

primaire, qui à son tour peut se servir d'un instrument secondaire. Prenons par exemple une phrase comme celle-ci: „il tue l'oiseau avec une pierre“. Un Blackfoot exprimera ainsi cette idée: „l'oiseau au-moyen-de-est-tué par lui une pierre“. Celui qui tue est celui que d'habitude on appelle l'agent, mais en réalité il n'est que l'agent apparent, l'instrument primaire, qui est à son tour dominé par une puissance secrète. L'agent apparent, quoique lui-même dépendant, influence l'objet logique (c.-à-d. le sujet grammatical) par son orenda émanante. Lorsqu'il est le sujet logique d'une action intransitive... il agit également par cette même force mystique. C'est pourquoi le cas d'énergie, qu'il soit exclusivement transitif ou généralement actif, peut être appelé cas émanatif ou cas de force émanante... J'ai dit que le cas d'énergie participait de l'instrumental. On pourrait dire avec quelque raison que par sa nature intime il est apparenté aussi à l'ablatif. Après ce qu'on a vu de son caractère émanatif ceci ne demande pas d'autre explication».

Эта „тайная сила“, о которой говорит С. С. Uhlenbeck, может избрать орудием своего действия любой предмет, одушевленный или неодушевленный. Точно так же он не заметил еще одного рискованного момента в своем построении: в самом деле, если действующий субъект является лишь орудием действия тайной силы и потому стоит в особого рода орудивном падеже, то в какой конструкции этот индеец Blackfoot сможет выразить мысль, что сама эта тайная сила совершает непосредственно какое-либо действие? Если следовать С. С. Uhlenbeck'у, эта мысль должна быть выражена не в обычной конструкции, так как в ней выражается только пассивность, следовательно, должна существовать еще какая-то конструкция для переходного глагола с выражением активности, а не орудивности действующего лица. Такой конструкции нет. Следовательно, все объяснение С. С. Uhlenbeck'а о смысле разбираемой конструкции отпадает. Из всех положений самого же С. С. Uhlenbeck'а с необходимостью вытекает положение о том, что активный пад. американских языков, так же, как некогда именительный пад. индоевропейских, есть падеж, указывающий на активность предмета, в пользу чего говорит особенно тот факт, что имена среднего рода, т. е. относившиеся некогда к классу социально-пассивных, не имеют показателя активного именительного пад.

Против пассивности конструкции говорит еще одно обстоятельство, именно то, что в непереходном глаголе логический субъект стоит не в активном, а в пассивном, для яфетических языков — именительном падеже. Но прежде чем остановиться на этом, необходимо разобрать

значение винительного пад. Это, прежде всего, падеж прямого объекта, т. е. указывающий на пассивность предмета, как объекта действия и который, как таковой, не должен, собственно говоря, иметь показателя. Так и обстоит дело в ряде индоевропейских языков (см. выше, стр. 63). Но в этих же языках средний род с основой на -о имеет показатели -m, -n. Мы выше отмечали, что их нельзя считать падежными показателями, так как они совпадают с именительным пад. среднего рода. Следовательно, окончания -m, -n являются, очевидно, своего рода определительными членами или детерминативами, как их называет С. Hirt,¹ вернее всего они являются классовыми показателями. Без этого детерминатива винительный падеж не должен был бы иметь никакого показателя, как это имеет место, например, в среднем роде 3-го склонения латинского и греческого языков. Этот падеж в таком случае в точности соответствует именительному пад. яфетических языков, в которых нет винительного падежа. Функцию последнего как объектного падежа или падежа, выражающего пассивность предмета, несет именительный пад. А именительный пад. в яфетических языках не имеет особого показателя. В южно-кавказских яфетических языках, как в грузинском, мегрельском и чанском, такой показатель, как будто, имеется, именно -i, но акад. Н. Я. Марр давно показал,² что это -i не есть падежный показатель, а местоименный аффикс, и определенный член. Следовательно, именительный пад. в яфетических языках не имеет особого показателя, представлен в чистой основе, т. е. как раз так, как это имеет место с именами среднего рода 3-го склонения в латинском, греческом, санскрите.

Таким образом винительный падеж индоевропейских языков по функции, как выразитель прямого объекта, и по форме совпадает с именительным пад. яфетических языков, тождествен с ним. Благодаря этому отпадает и один из доводов, пожалуй, важнейший, сторонников пассивности этой конструкции, именно, постановка прямого дополнения не в винительном, а именительном пад., как при пассивной конструкции глагола. Именно так и должно быть в глаголе с активной конструкцией. Резюмируем: субъект должен иметь какой-либо показатель действительности, следовательно, должен стоять в «косвенном» пад.; в яфетических языках — в падеже активном, в индоевропейских языках — в падеже именительном; прямой объект не должен иметь никакого падеж-

¹ Indogermanische Grammatik, III, стр. 97, 154.

² Н. Я. Марр. Грамматика древнелитературного грузинского языка. Т., 1925, стр. 17—18.

ного окончания, поскольку им дается только наименование предмета, являющегося объектом действия, и тем самым выражается его пассивность. Следовательно, выражаемая таким образом конструкция есть именно активная.

Теперь мы можем остановиться на одной особенности спряжения глагола в яфетических языках, особенности, которая говорит опять всецело в пользу активности разбираемой конструкции. Как уже говорилось, имя стоит в активном падеже только при глаголах переходных. При глаголах же непереходных имя стоит в именительном падеже, т. е. в том же падеже, как и прямой объект переходного глагола, например, в баскском языке: *Ni-k gison-a da-kar-t 'я' (nik акт. пад.) 'человека' (gison-a — именительный пад.): 'его — несущий — я' (da-kar-t). Gison-a da-bil 'человек' (gison-a именительный пад.), 'он-идет' (da-bil).* В первом случае слово *gison-a* 'человек' является прямым объектом переходного глагола, во втором случае — субъектом глагола непереходного. Следовательно, субъект глагола непереходного воспринимается так же, как прямой объект глагола переходного, следовательно, субъект непереходного глагола воспринимается как пассивный. Это явление, общее для всех яфетических языков, было бы совершенно непонятным, если бы в нашем распоряжении были одни лишь яфетические языки. Яркий свет проливают здесь некоторые северо-американские языки, в которых переходный глагол идет по той же конструкции, как и в языках яфетических; однако, среди этих языков есть такие, как языки Сиу и Тлингит, в которых по этой мнимой «пассивной» конструкции идут не только глаголы переходные, но все глаголы движения.¹ В этих языках глаголы делятся не по принципу переходности или непереходности, а по принципу действительности или покоя: все глаголы движения, как то: ходить, бежать и т. п., спрягаются так же, как переходные глаголы в яфетических языках, т. е. логический субъект стоит в активном пад., все же глаголы состояния, как то: нуждаться, быть усталым, думать и т. п. спрягаются по типу глаголов непереходных, т. е. логический субъект стоит в падеже именительном или пассивном. Так как в этих языках нет формально выраженного путем окончаний склонения, то эта особенность выражается разницей в местоименных частицах, т. е. логический субъект при глаголах движения отличается от логического субъекта при глаголах состояния, а последний совпадает с прямым объектом переходного глагола. Так, в языке Дакота (Сиу) субъект при глаголах движения выражается местоименным

¹ С. С. Uhlenbeck. У. с.

показателем *wa-*, прямой объект переходного глагола и субъект глаголов состояния — местоименным показателем *ma-* (*mí-*, *m-*):¹

wa'-t'i 'I dwell'

ma-sí'ca 'I am bad'

ma-ya'-k'te 'thou killest me',

где *ma-* служит одновременно и в качестве местоименного показателя-субъекта глагола непереходного и прямого объекта глагола переходного, в отличие от *wa'-*, служащего только в качестве местоименного показателя-субъекта глагола переходного. Эта особенность конструкции глаголов в некоторых американских языках лишний раз подчеркивает, что дело не в пассивности, а наоборот, в подчеркивании активности, действительности субъекта. Эта конструкция проливает свет и на развитие глагола, о чем ниже.

Активность этой конструкции подчеркивает, наконец, эта же особенность глагола в яфетических языках — употребление для выражения субъекта переходного глагола местоименного элемента, отличного от местоименного элемента-субъекта непереходного глагола, совпадающего с показателем прямого объекта глагола переходного, примеры чего были уже приведены в начале статьи, а также для характеристики структуры глагола в языке Дакота. Это прямо противоречит учению С. С. Uhlenbeck'a об орудивном характере активного падежа, следовательно, и о пассивности всей конструкции: если бы дело обстояло так, как он это предполагает, то это явление было бы непонятно, в то время как оно совершенно понятно, более того, необходимо при предположении активности конструкции — действенным может быть только нечто социально-активное, качественно отличающееся от существ социально-пассивных, настолько отличающееся, что перемена ролями немыслима, т. е. немыслим переход из класса социально-активных в класс социально-пассивных, и потому действующий субъект отличается от объекта действия, социально-пассивного.²

Является ли, однако, эта мнимая пассивная конструкция активной в том же смысле, как активная конструкция в языках индоевропейских? На этот вопрос приходится ответить отрицательно: в индоевропейских языках имеется рядом с активной конструкцией и конструкция пассивная, в яфетических языках, как правило, ее нет, за исключением языков южно-кавказских, и понятно почему нет: наличие страдательного залога пред-

¹ См. F. Boas. Handbook of American Indian Languages, 1911, т. I, стр. 903—909 (транскрипция Boas'a).

² См. С. Быховская. К вопросу о происхождении склонения. Изв. Академии Наук, 1930, стр. 287.

полагает, что одно и то же лицо может быть, в зависимости от ситуации, то субъектом действия, то объектом. При только что указанной стабильности деления на классы социально-активных и социально-пассивных таких ситуаций быть не может, так как данное лицо может мыслиться или только как субъект или только как объект. Социально-активное лицо может быть в пассивном состоянии только, если оно в покое, и это выражалось изначально в глаголах состояния. При отсутствии противопоставления пассивности едва ли может быть речь об активности. Самая постановка вопроса С. С. Uhlenbeck'ом в не раз цитированной статье о первичности пассивной конструкции не выдерживает критики, именно потому, что нет противоположности пассивной конструкции — конструкции активной. Все данные говорят за то, что разбираемую конструкцию можно понять только как такую, в которой диффузно слиты активность и пассивность, как конструкцию активно-пассивную, впоследствии лишь разделившуюся на две противоположные — активную и пассивную.

В самом деле, на тотемистической стадии развития человеческого мышления у человека не могло быть иного представления о действительности. Личность не выделялась из коллектива как социальная самостоятельно значимая единица, с другой стороны, тотем представлялся неразрывно слитым с самим коллективом. Таким образом, тотем, коллектив и отдельный член коллектива мыслились как единое целое. Поэтому отдельная личность из коллектива не мыслила себя самостоятельно действующей: в ней и через нее действовал весь коллектив с его тотемом; поскольку, однако, личность являлась неделимой частью коллектива и тотема, она в одно и то же время являлась и субъектом действия. Таким образом, в представлении о действительности неразрывно сливалось представление о пассивности и активности пока еще в диффузном едином целом. Поэтому С. С. Uhlenbeck неправ в своем объяснении «пассивной» конструкции:¹ его *forse casché* стоит уже вне коллектива и над ним, это уже стадия развития не тотемизма, а религии, которой, правда, не чужды значительные переживания этого первобытного тотемистического мировоззрения. Отсюда и то противоречие, в которое автор впадает, определяя эту конструкцию как пассивную.

Анализируя «пассивную» конструкцию, мы исходили из тех ее форм, которые представлены в наиболее чистом виде. Но дело обстоит не так просто. От этой конструкции имеется целый ряд отступлений, заставивших А. Ditt'a поставить слово «пассивная» в кавычки и заставивших А. Trombetti отказаться пока от решения вопроса (хотя он его, как видим, решал доста-

¹ См. выше, стр. 64—65.

точно храбро). Но эта пестрота и многообразие проявлений нашей конструкции могут привести в отчаяние только тех, которые рассматривают язык как нечто статическое, раз навсегда данное, неподвижное. На самом же деле эти многочисленные отступления очень ценны, как моменты, дающие возможность рассматривать развитие языка в его движении. Примером одного из таких отступлений может служить структура переходного глагола в южно-кавказских языках: прежде всего в них переходный глагол имеет эту особую конструкцию только в аористе и происходящих от него формах; кроме того, в этих языках имеется еще и винительный пад. Но это «исключение» объясняется движением южно-кавказских языков по направлению к индоевропейским: в настоящем времени и в производном от него прошедшем несовершенном глагол приближается уже к типу индоевропейского глагола. Этим же объясняется наличие винительного пад.: с новой структурой глагола выявилась необходимость в винительном пад., для которого и был использован дательный: винительный пад. в грузинском языке имеет тот же показатель, как и дательный, так же, как и во всех южно-кавказских языках.

Другое любопытное отступление имеется в баскском языке: *Imperfectum* глагола переходного при 3-м лице прямого объекта конструируется так же, как глагол непереходный, так же, как всякий глагол в индоевропейских языках: в данном случае вопрос не очень сложный: дело в том, что в баскском языке в *Imperfectum*'е объект 3-го лица выражается нулевым аффиксом, т. е. его нет в глаголе. Для примера используем глагол 'иметь', — напомнив, что при переходном глаголе субъект 1-го лица выражается показателем -t и стоит в конце глагола, а прямой объект 1-го лица выражается показателем n- и стоит в начале глагола:

Praes.

d-u-t 'то (d) имею (u) я (-t)'.

Imperfect.

n-u-en 'я (n) имел (u)' (-en — показатель *Imperfectum*'а). Как видим, 3-го л. прямого объекта нет. В глаголе непереходном для 1-го л. имеется тот же показатель n-: n-a-iz 'я (n-) есмь', n-a-bil 'я (n-) иду'.

Как видим, здесь форма глагола переходного сближается с глаголом непереходным, в котором прямого объекта никогда, конечно, не бывает. Осознание конструкции у басков уже утрачено, поэтому по одной лишь внешней аналогии глагол начинает спрягаться как глагол непереходный. С аналогичным явлением мы встречаемся в кабардинском языке: при наличии прямого объекта глагол идет по «пассивной» конструкции, при его отсутствии

в предложении — глагол идет по обычной конструкции непереходного глагола.

psə-g ma-šxe

‘хозяин ест’

и

psə-m šak'o-g je-šx

‘хозяин хлеб ест’.¹

В первом случае при отсутствии прямого объекта логический субъект оформляется частицей -g, так же, как логический объект во втором предложении (šak'o-g); во втором случае логический субъект оформляется частицей -m, показателем активности. Таким образом перед нами явление, совершенно повторяющее особенность в спряжении баскского переходного глагола. Такие формы исключений в высшей степени поучительны с точки зрения методологии общего языкознания, так как они с полной наглядностью позволяют видеть роль закономерностей самого языка в его развитии. Мышление, соответствующее старой структуре глагола, исчезло, вместе с ним исчезло и осознание его формы. Но форма исчезает не сразу по всей линии глагола — исчезает прежде всего та, которая более подвержена удару с формальной стороны языка — переходный глагол без прямого объекта стал внешне сходен с глаголом непереходным и по аналогии с ним стала изменяться его структура в первую очередь.²

Разбор более сложных случаев мнимо-пассивной конструкции не составляет задачу настоящей статьи — это цель дальнейшего исследования. В заключение же мы попытаемся в грубых чертах дать схему развития глагола, как она вытекает из исследованного материала.

Соответственно конкретному мышлению человек вначале конструирует глагол строго соответственно его конкретному содержанию, и с этой точки зрения получаются три конструкции: 1) конструкция глагола чувственного восприятия, типа «мне хочется», «мне нравится» (о них — в следующей статье), 2) глаголы действия (вначале все переходные) и 3) глаголы состояния. Действительность субъекта выражается первоначально особым словом в отличие от пассивности — следы этого мы видим в разных корнях для именительного и «косвенного» падежей личного местоимения³ и в показателе для субъекта переходного глагола, отличном от показателя прямого

¹ A. Dirr. Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen. Leipzig, 1928, стр. 74 (транскрипция Dirr'a).

² См. С. Быховская. К вопросу о трансформации языка. Докл. Акад. Наук, 1931.

³ См. С. Быховская. К вопросу о происхождении склонения.

объекта переходного глагола и субъекта глагола непереходного.¹ Впоследствии активность стала выражаться путем присоединения к субъекту особого слова, выражающего его действительность; слово это, затем превратившись в морфологический элемент, стало окончанием активного пад. Деление на глаголы действия и состояния имеет место в северо-американских языках и является более древним, чем деление по признаку переходности. В самом деле, приведенные нами факты из баскского и кабардинского языков говорят, что глагол, не имеющий прямого объекта, стремится перейти в строй глаголов непереходных. Если считать для северо-американских языков более древним деление на глаголы по их переходности и непереходности, нам пришлось бы предположить обратный процесс, т. е. что безобъектные глаголы движения перешли в строй глаголов переходных, что совсем невероятно (акад. Н. Я. Марром доказано, что вначале все глаголы были переходными, разумеется, глаголы действия, так как появление глагола, вернее, слова, для состояния есть уже явление значительно более позднее, требует большой способности к абстрагированию). Следующей стадией развития является та стадия, когда активные глаголы разделяются на глаголы переходные и непереходные — это стадия состояния глагола в яфетических языках и отчасти северо-американских (других языков мы не касаемся). Наконец, третья стадия развития, когда человек может уже мыслить глагол как абстрактный процесс, вне отношения этого процесса к его производителю — субъекту и вне его направленности — объекта, стадия, когда в глаголе стирается уже разница между тремя поименованными выше типами процесса, стадия, на которой вследствие приобретенной уже способности к восприятию абстрактного процесса в глаголе неузнаваемыми становятся уже личные показатели, не ощущающиеся уже в настоящее время как местоимения — это преимущественно стадия развития индоевропейских языков, стадия развития, когда одинаково конструируются глаголы переходные и непереходные. Эта стадия выражается, между прочим, и в том, что в настоящее время не всегда легко бывает отличить переходный глагол от непереходного. Напр., «смотреть пьесу» и «смотреть на человека» или «она шьет» и «она шьет платье»: в первом случае, «она шьет», глагол «шьет» воспринимается как непереходный, во втором случае «она шьет платье» глагол воспринимается как глагол переходный, потому что в предложении имеется налицо прямой объект «платье». Случай совершенно аналогичный явлениям в языках баскском и кабардинском, в которых мы застаем «пассивную» конструкцию в начале процесса ее исчезновения.

¹ См. выше, стр. 67—68.

А. К. БОРОВКОВ

Узбекский литературный язык¹

I

Проблема национальных литературных языков во всей своей сложности и многообразии была выдвинута в ходе небывалого в истории превращения отсталых в экономическом и культурном отношении многочисленных народностей колониальных «окраин» царской России, в народности, строящие социализм, осваивающие передовую социалистическую технику и развивающие свою, национальную по форме, социалистическую по содержанию культуру.

Каждая наудачу взятая статистическая справка свидетельствует о грандиозном размахе экономического и культурного строительства в национальных республиках Союза ССР. Например, до 1915 г. в Узбекистане насчитывалось около 590 школ с 32 тысячами учащихся и 2—3% грамотных в стране, — в 1932 г. — 4774 школы с 430 000 учащихся. На территории Узбекистана заново создано 34 высших учебных заведения с 20 635 учащихся. С начала 1932 г. число районных типографий увеличилось с 6 до 10, а число обслуживаемых ими газет — с 43 до 70. Совнарком Узбекской ССР вынес решение о создании новых шести районных типографий в Гиждуване, Катта Кургане, Янги-Кургане, Гузаре и Джизаке, в сентябре 1932 г. Узбекистан, наконец, как известно, стоит перед превращением в страну всеобщей грамотности.

Эти факты подтверждают ту нашу мысль, что проблема литературного языка встала перед всеми национальностями Союза ССР как актуальнейшая проблема культурного подъема трудящихся и развития национальной культуры.

Разрешение проблемы литературного языка возможно лишь при учете многообразнейших исторических форм развития литературного языка в каж-

¹ Статья была написана в январе—феврале 1933 г. для проектировавшегося тогда лингвистического журнала.

дом данным конкретном случае. Октябрьская революция и социалистическое строительство поставили эту проблему и для народностей, не имевших до того национальной письменности, перед народностями с зачатками письменности, перед народностями, имевшими средневековую, феодальную письменность и литературный язык на ее основе, и, наконец, перед теми народностями, которые уже имели литературный язык на основе национального языка.

Во всех случаях, одинаково, решение проблемы литературного языка является задачей огромного значения.

Насколько актуальным и животрепещущим является вопрос о путях развития национальных культур и языков, ярко свидетельствует тот факт, что вопрос этот, наряду с первостепенными проблемами социалистического строительства и классовой борьбы пролетариата, всплыл на XVI съезде партии и нашел свое блестящее теоретическое освещение и разрешение в речи И. В. Сталина.

Нет ничего удивительного в том, что вопрос о литературном узбекском языке приобрел большое политическое значение.

Борьба за различные пути развития узбекского литературного языка явилась отражением идеологической борьбы за гегемонию в области культуры, на фоне общего обострения классовой борьбы в эпоху диктатуры пролетариата. Задача борьбы за подлинно социалистический путь развития литературного языка необходимо обязывает нас приступить к научному исследованию процесса развития современного узбекского литературного языка. К великому сожалению, нам нельзя похвастать большими успехами в этой области. Отчасти это объясняется самыми историческими условиями развития национальных литературных языков в Союзе ССР.

Первая, вставшая на пути разрешения, проблема форм развития литературных языков была грандиозная проблема, которой, естественно, отводилось и отводится максимум внимания ученых специалистов и широкой общественности, — это проблема новой письменности, замены средневековой письменности и создания новой, получившая у нас недостаточно, может быть, точное название — латинизации письменности. В связи с этой проблемой внимание уделялось, по преимуществу, вопросам фонетического состава национальных языков и их диалектов, вопросам новой графики, орфографии и унификации письменности и пр. Одновременно потребность в развитии научных и технических знаний, подъем уровня политического сознания трудящихся потребовали исключительного внимания к вопросам терминологии в национальных языках. Проблема же литературного языка

во всей своей широте еще не стала предметом исследования в той мере, какой она заслуживает.

В нашей научной и научно-популярной литературе с прочностью пред-
рассудка укрепились мнение, признающее особенностью литературного
языка его «искусственность», в противоположность «естественности», если
можно так выразиться, живой разговорной речи. Эта точка зрения имеет
весьма почтенную давность и основана на простом сопоставлении обыденной
разговорной речи или «народного» языка, традиционному классическому,
средневековому литературному языку. На самом же деле так наз. «искус-
ственность» не есть существенный признак литературного языка вообще,
и находит свое выражение в различных формах в определенные историче-
ские периоды, в определенных общественных условиях.

Так, русские писатели и поэты XVIII столетия считали своей обязан-
ностью писать на таком вычурном языке, который не имел ничего общего
с формами живой речи. Критики указывали, как на самый основной недо-
статок писателя, если его стиль не отличался «высотой словес» или «изви-
тием словес». Про такого писателя говорили, что он пишет не талантливо,
грубо, „яко же поселяне“ и т. п.¹

Связь с идеологией и культурой господствующих классов в каждую
данную эпоху является движущей основой развития литературного языка,
характеризующей природу литературного языка.

Следующие признаки определяют наше понимание литературного
языка: во-первых, материализация в письме или, иными словами, своеоб-
разная «проекция» устной разговорной речи через посредство различных
форм литературы. То, что в живой речи выражается в процессе непосред-
ственного языкового общения говорящих с помощью различных средств,
естественно данных — интонации, эмоции в способах выражения, жестику-
ляции, мимики, — самой формой разговорной речи, — в литературном
языке эта речь «проектируется», как бы превращается в особые
синтаксические формы, где интонация и пр. заменяется определенными
грамматическими средствами и развернутой пунктуацией на высшей сту-
пени развития литературного языка. Развитие различных форм художе-
ственной литературы и научно-терминированной речи является при этом
важнейшим фактором развития синтаксической структуры литературного
языка. Вскрытие все более и более сложных отношений между явлениями
в природе и обществе, все более полное уяснение сущности самих явлений
и их связей и определений толкает не только развитие мышления, но и са-

¹ См. А. И. Соболевский. Ломоносов в истории русского языка, СПб., 1911, стр. 1—3.

мих форм их выражения в языке. Каждому не лингвисту хорошо известно, что два простых предложения и одно сложное для выражения одной и той же мысли не адекватны.

Развитие и усложнение синтаксической структуры форм прямой и косвенной речи в литературном языке является предпосылкой обособления литературного языка и форм разговорной речи и, наоборот, обуславливает их взаимное сближение в дальнейшем уже на базе литературного языка. В этом смысле наивными и смешными являются встречающиеся у нас утверждения о том, что литературный язык необходимо «упрощать» на степень обыденной разговорной речи, мотивирующиеся недоступностью литературного языка массам, знающим язык лишь в его обыденной разговорной форме. Эти утверждения покоятся часто на явном недоразумении, когда пытаются объяснить трудности понимания известных научных или общественно-политических понятий трудностью изложения, или на явном непонимании того простого факта, что литературный язык есть продукт культурного развития общества в определенных в каждую данную эпоху исторических условиях, а не есть продукт «искусственности» вообще.

С точки зрения современного развития можно говорить об огромной разнице в синтаксических формах узбекского и всякого вообще литературного языка, и разговорного языка. Об этом ниже.

Во-вторых, существенным признаком литературного языка является его нормативность. Литературный язык как бы абстрагируется от всего многообразия диалектологических форм, и, впитывая в себя диалектологические элементы разговорного языка, включает их в известные рамки в синтаксическом, морфолого-орфографическом и фонетическом отношении. Нормативность литературного языка является условием его обще-значимости. Ясное дело, что самое понятие нормативности необходимо рассматривать исторически.

Нормативность грамматическая и орфографическая являются необходимыми условиями развития литературного языка.

С этой точки зрения современный узбекский литературный язык переживает период нормизации.

И здесь проделана огромной значимости, в смысле дальнейших перспектив развития, работа в области орфографии, далеко еще не законченная, но уже в рамках имеющихся форм представляющая большое достижение. Именно: твердо разграничены нормы фонетические и орфографические, например, конечное *o* деепричастий прош. врем., в противоположность глагольным и именным окончаниям с *p*: — *kop*, *tap*, *cop* и т. п.; *p* глагольных

и именных основ, в противоположность фонетическим разновидностям разговорного языка: *tarʼb*, *sarʼb*, *təbīb* и пр., вместо *tavur*, *savur*, *təvīr* и т. п.; *g* глагольных основ, в противоположность разговорным формам с *j*: *tegīb* и пр., вместо *tejīr* и др. Точно таким же образом, в противоположность формам разговорного языка, ассимилирующим в произношении конечные согласные основ и начальные согласные приставок и окончаний, современная орфография устанавливает и нормирует морфологический, а не фонетический момент: *sizni*, *malni*, *atni*, *tamni*, *ucdʼ*, *səndən*, *ketgən* и т. д., вместо *sizzi*, *mallʼ*, *attʼ*, *tammʼ*, *uctʼ*, *sənnən*, *ketkən* и т. д. и т. п. И что особенно важно, морфологическая структура языка, система словоизменения и словообразования, аффиксация основ, включена в определенные орфографические рамки.

Правда, в этой области предстоит еще много сделать. Впереди еще значительные реформы орфографии, особенно в связи с орфографией иноязычных терминов.

При значительной разработанности орфографии современного узбекского литературного языка научная разработка синтаксиса не только отстала, но представляется еще областью совершенно не исследованной, являясь ближайшей актуальнейшей задачей научного исследования на данном этапе.

В-третьих, существенным признаком литературного языка является его связь и взаимодействие с другими языками, формы этой связи и взаимодействия отличны от форм межязыковой связи в рамках устной и разговорной речи. Иногда высказываются мнения о «чистоте» того или другого национального литературного языка, в смысле его непосредственности и отсутствия в нем иноязычных и так называемых «заимствованных» элементов. Этим выражается или ограниченность взглядов, или недостаточность развития самого литературного языка, узкие исторические рамки его развития. В природе же нет «чистых» языков в этом смысле. Ясное дело, что самые формы взаимодействия языков определяются историческими условиями в каждый данный период.

Сумма всех перечисленных признаков обуславливает особые условия развития литературного языка и его элементов, различных сторон. Таким образом, требование конкретно-исторического подхода к изучению современного узбекского литературного языка и процесса его развития есть необходимое условие научного метода исследования.

С этой точки зрения большое значение имеет научное исследование исторических предпосылок развития современного узбекского литературного

языка. Вопрос об исторической перспективе, в силу этого, не случайно является одним из центральных в самой постановке проблемы путей развития современного узбекского литературного языка.

В полемике об исторической перспективе и путях развития узбекского литературного языка нашли отражение различные точки зрения. В основном они сводятся к двум различным тенденциям.

Первая тенденция сводится к тому, чтобы доказать, что современный узбекский литературный язык является непосредственным продолжением чагатайского языка, классической чагатайской литературы XIV—XVI ст. ст. Чагатайский язык, представляется, был господствующим литературным языком на территории всей Средней Азии. Кочевники-узбеки, свергнувшие господство чагатаидов в начале XVI в., сохранили все же и в дальнейшем традиционный чагатайский литературный язык. Развитие литературного языка мыслится представителями этой тенденции как ориентация и возврат к традициям классического чагатайского языка и литературы.

Эта тенденция нашла свое выражение в устремленности к изучению чагатайской и древне-турецкой литературы с той нескрываемой мыслью, что путь обогащения современного литературного языка и художественной литературы необходимо должен идти через возврат к «золотому веку» чагатайского средневековья.

На точке зрения «чагатаизма» стоял в свое время, как известно, профессор Фитрат. В предисловии к своей «Этимологии» узбекского языка проф. Фитрат излагал ту мысль, что последний период процветания узбекской литературы относится ко временам Умар-хана Ферганского.

Вслед за оживлением и расцветом литературы в этот период наступили годы упадка и мрачного безвременья, период «порченной» литературы и косноязычия. Некоторый подъем литературы, по мнению проф. Фитрата, начинается снова лишь с конца XIX ст., когда джадидизм поднял снова вопросы национальной литературы, школьного образования и реформы языка, не решив, правда, ни в какой мере проблемы литературного языка. Продолжателями литературного движения явились, как говорит проф. Фитрат, в годы революции, «чагатаисты», — группа единомышленников, взявших на себя задачу разработки проблем литературного языка под углом зрения восстановления литературного чагатайского языка.

Во введении к той же «Этимологии» проф. Фитрат сетовал на то обстоятельство, что самое национальное название узбеков явилось плодом недоразумения.

После великой революции, писал он, когда встала самая проблема национального образования у народности, населявшей территорию теперешнего Узбекистана, не было единого национального названия, и все спрашивали друг у друга: «кто же мы такие?». В результате ими было присвоено случайное название узбеков. Но это, по мысли проф. Фитрата, не соответствовало действительности, — настоящим их именем должно было быть — «чагатай». Это последнее наше этническое название, говорил он, сохранило свою силу лишь в нашей литературе. И вообще во все времена, когда неоднократно менялись этнические названия, только наш язык, «чагатайский язык» и наша литература «чагатайская литература», оставались неизблемы, писал проф. Фитрат.¹ «Чагатаизм» находит свое выражение в стремлении направить развитие современного узбекского литературного языка в рамки средневекового языка классической чагатайской литературы. Примером может служить упомянутая «Этимология» проф. Фитрата, построенная на образцах из произведений писателей средневековой чагатайской литературы и продолжателей их традиций: Невая, Бабуря, Мукими, Юсуфа Сайрама и др. Можно сослаться также на статьи Ильбека, посвященные терминологии, где автор публикует словарь терминов из произведений тех же классиков средневековья: Невая, Суфи Аллаюра и др., в целях своего рода «модернизации» терминологии.²

Вторая тенденция покоится на той точке зрения, что чагатайский литературный язык исторически не имеет ничего общего с современным узбекским литературным языком. Чагатайский литературный язык, сохранившийся в рамках господствующих классов — феодальной аристократии и представителей торгового капитала — не был никогда литературным общенациональным языком, поскольку для этого не было экономических и политических предпосылок.

Большинству трудящихся в Узбекистане традиционный чагатайский литературный язык мало понятен. Основная масса населения Узбекистана говорит на узбекско-кыпчакском и хивинско-карлукском наречиях, которые отличаются своими морфологическими и фонетическими особенностями. Настало время коренного пересмотра вопроса об узбекском литературном языке, говорят представители этой второй тенденции, — в смысле массового внедрения в основу его дальнейшего развития языковых норм указанных наречий.

Не трудно заметить, что та и другая точка зрения абстрактно, не исторически ставя вопрос о путях развития современного узбекского

¹ См. ۱۹۲۵ فیترهت سەدەف ۳، لى باسما تاشكە نت

² См журналы ده ئوقۇتغۇچى انقىلاب و مەعارف за 1924—1925 гг.

литературного языка, выражают определенные тенденции в известной наукообразной оболочке.

Тенденция рассматривать современный узбекский литературный язык, как чагатайский *par excellence* и требующая возврата к классическому чагатайскому языку и восстановления его былого «величия» на территории всей Средней Азии — является выражением национал-демократической идеологии и политики в области культуры. У всех в памяти «крылатые выражения» представлявших эту тенденцию, вроде, например, следующего заявления проф. Фитрата: «Чагатайская литература имеет такую славную историю, перед которой даже сегодняшняя европейская литература снимает шапку» или «Пантюркизм, — это наш идеал, мы можем это везде доказать. Если из трех наречий: татарского, тюркского и чагатайского мы вытесним иностранные, арабские, персидские и русские слова, то мы несомненно достигнем идеала пантюркизма» и т. п.

Эта тенденция возврата к «золотому веку», выражающаяся в борьбе за «самобытность» национального языка, направлена в первую очередь против того пути развития литературного языка, который предначертала Октябрьская революция. Буржуазные и мелкобуржуазные тенденции одеваются в национальных республиках Союза ССР в тогу национал-демократизма с тем, чтобы противопоставить развитию национальной культуры и языка в условиях Советской власти свой путь «самобытного» буржуазного развития, возможность которого пресекла диктатура пролетариата.

Понятно, почему представители этой тенденции в вопросах языка советизацию и интернационализацию языка, невиданно быстрое развитие новых форм национального литературного языка представляют в свете «чуждых влияний», влияний, разумеется, советской, социалистической культуры.

Сама по себе эта тенденция, как мы видели, покоится на абстрактной, мертвой схеме движения литературного языка и рассматривает его вне конкретно-исторических условий развития.

Противоположная точка зрения, выражающая взгляды либерально-буржуазной интеллигенции, требующая радикального «упрощения» литературного языка и создания его на основе узбекско-кыпчакского и хивинско-карлукского наречий, ставя вопрос в такой же мере абстрактно, проходит, естественно, мимо исторических условий развития узбекского литературного языка.¹

¹ Несмотря на свою кажущуюся «противоположность» обе тенденции вполне уживаются друг с другом. В предисловии к упоминавшейся «Этимологии» проф. Фитрат писал, напр.,

В этой области перед нами встает огромной важности задача подлинно-научного изучения исторического процесса развития узбекского литературного языка. Памятники среднеазиатской дореволюционной литературы, с точки зрения лингвистической, настолько мало изучены, что вообще сейчас чрезвычайно трудно говорить об особенностях форм его развития в различные периоды.

Язык литературных памятников недостаточно исследован в сравнительно-историческом аспекте. Вызывают сомнения даже широко известные памятники, как произведения среднеазиатского мистика-поэта XII в. Ахмеда Есеви.

Гипотеза турецкого ученого профессора Кёпрюлю-Заде¹ о том, что основанием литературного языка Ахмеда Есеви является карлукская диалектологическая база, основательно оспаривается лучшим знатоком среднеазиатской литературы акад. А. Н. Самойловичем, который впервые указывает и на специфическую социальную среду литературной деятельности Ахмеда Есеви.

Проблема периодизации истории литературного языка тем более сложна, что процесс развития литератур и языков туркоязычных народностей рассматривался как единый процесс под углом зрения, преимущественно, принятых лингвистических схем.

Исторический процесс, процесс образования наций, рассматривался, таким образом, с субъективной точки зрения, и проблема периодизации истории, в частности, среднеазиатских литератур, а вместе с тем и литературных языков, не могла быть разрешена положительно.

Большое значение имеет также то обстоятельство, что в научной литературе привлекались, преимущественно, памятники художественной литературы, тогда как с точки зрения истории развития литературных языков принципиальный интерес представляют и памятники деловой и бытовой переписки, язык юридических актов и всякого рода документов, с более яркой локальной окраской, с новыми особенностями литературного языка различных эпох.

«мы знаем, наши города сотни лет находились под влиянием арабской и персидской литературы. Поэтому у нас в городах язык испорченный. Мы должны брать за образец язык в чистом виде, язык населения деревень и степных аулов». Наряду с этим проф. Фитрат, указывал на классическую средневековую литературу, как на источник развития современного литературного языка (стр. 7, ۱۹۲۵ تاشکەنت (فیتروت سەرف، تاشکەنت ۱۹۲۵).

كوپرلی زاده محمد فؤاد تورك ادبیاتی تاریخی استانبول ۱۹۲۸. В этом труде специальная глава посвящена чагатайской литературе, стр. 313 и др. См. также его تورك ادبیاتندە ایلک متصوفلر Стамб., 1918 и др.

В общем же с точки зрения историко-литературной критики памятники среднеазиатских литератур представляются мало изученными.

Признанное невыдерживающим научной критики исследование Никитского о классическом представителе среднеазиатской литературы Мир-Али-Шир-Невал,¹ ряд замечаний проф. Мелиоранского в русской научной дореволюционной литературе, с одной стороны, исследования немецкого ученого М. Hartmann'a и венгерских ученых Vambergy и J. Thúry, с другой — вот, собственно, небольшой круг старого научного наследия в этой области.²

Больше сделано в этой области в по-октябрьскую эпоху советскими учеными во главе с акад. А. Н. Самойловичем.³ Но работы эти, естественно, лишь намечают дальнейшие темы и рамки лингвистического изучения памятников среднеазиатской художественной литературы. Особо необходимо выделить задачу исследования литературного языка эпохи, непосредственно примыкающей к Октябрю, эпохи 1905—1918 гг.

Эта тема представляет исключительный лингвистический интерес в том смысле, что она дала бы представление о тех тенденциях в развитии литературного языка, которые привнесло в него течение так называемого джадидизма.

II

В развитии узбекского литературного языка необходимо различать две принципиально различные эпохи; до- и послеоктябрьскую.

Принципиально различные общественные условия развития узбекского литературного языка до и после пролетарской революции не допускают понимания современного узбекского литературного языка, как непосред-

¹ Никитский, Михаил. Эмир Низам Эд-дин-Али-Шир в государств. и литературн. его значении. Рассуждение. СПб., 1856. «Эта восторженная характеристика давно забыта, но до сих пор ни на Западе, ни на Востоке не утратила доверия появившаяся пять лет спустя монография о Мир-Али-Шире Белена (Belin), также более похожая на панегирик, чем на монографию об историческом лице» (В. В. Бартольд. Мир-Али-Шир и политич. жизнь. Сб. Мир-Али-Шир, Л., 1928, стр. 101).

² Hartmann, M. Čaghataisches, Die Grammatik ussi lisanī turkī des Mehemed Sadiq. Heidelberg, 1902. Der čaghataische Diwan Hūwēdās. Berlin, 1902.

Vambergy, H. Čagataische Sprachstudien enthaltend grammatikalischer Umriss, Chrestomathie und Wörterbuch der Čagataischen Sprache. Leipzig, 1867; Die Scheibaniade ein özbekisches Heldengedicht in 76 Gesängen von Prinz Mohammed Salih aus Charezm, Text, Übersetzung und Noten. Wien, 1885; Zwei moderne centralasiatische Dichter, W. 2. K. M. VI.

³ А. Н. Самойлович предложил и признанную схему периодизации истории «среднеазиатского турецкого» языка в своем исследовании «К истории среднеазиатско-турецкого языка» в сб. Мир-Али-Шир, Л., 1928, стр. 1—23.

ственного преемника классического чагатайского языка. Развитие литературного языка в различных исторических условиях обуславливается борьбой общественных классов и межклассовыми отношениями в обществе в каждую данную эпоху.

В общих чертах развитие и образование литературных языков представляется в следующем виде: в условиях феодального общества, когда раздробленное натуральное хозяйство покоится на внеэкономическом принуждении непосредственных производителей в замкнутых и разобщенных хозяйствах, когда развитие культуры господствующих классов движется в рамках религиозной идеологии, существуют параллельно многочисленные крестьянские наречия, само собою разумеется не находящие своего выражения в письменности, поскольку грамотность и образование замкнуты в рамках феодальной аристократии и церкви, и феодальный литературный язык остается не национальным языком, а языком классовой культуры, феодальной культуры, феодальной церкви и науки в пределах установившихся международных экономических и политических связей.

Национальный язык впервые поднимает на щит торговый капитал в рамках феодального общества, этим объясняется специфический характер языка «национального», переплетающегося с языком феодальной культуры, возникающего часто как «ересь» в рамках господствующей церкви и занимающего устойчивое положение только в рамках культуры и языка господствующих классов своей эпохи внутри абсолютистского государства.

Только промышленная буржуазия в эпоху развития капитализма и образования национальных государств поднимает мощное движение за национальный, «демократический», литературный язык. Ясно также, при этом надо иметь в виду, что промышленное развитие обуславливает и формы развития литературного языка. Письменность, покоившаяся на рукописной традиции, с изобретением книгопечатания расширяет основу литературного языка. Создание национальных алфавитов с дальнейшим развитием книгопечатания порывает с рукописной формой письма, резко отграничивая шрифты печатный и рукописный. Эти перемены сопровождаются развитием самого литературного языка, нормизацией его грамматических и орфографических правил, развитием пунктуации и т. д.

Определенные исторические условия обуславливают, разумеется, различные формы перехода, различные формы взаимодействия и связи между литературным и национальным языком в различные эпохи. Но все сказанное свидетельствует о том, что нельзя проводить прямой линии, решая проблему исторической перспективы развития литературного языка.

Близость чагатайского языка к различным языкам турецкой системы создает иллюзорное впечатление прямой исторической преемственности в развитии национальных литературных языков именно с чагатайским. Это иллюзорное впечатление превращается в доктрину в интересах не научной, а определенной политической тенденции, выражающейся в различных формах буржуазного националдемократизма.

Исторические предпосылки развития современного узбекского литературного языка сложились в эпоху до пролетарской революции, но национально-культурное развитие после победы пролетариата и под эгидой советской власти, в условиях невиданного культурного подъема и роста политической активности пролетарских, колхозных и широких трудящихся масс, создало новые формы развития узбекского литературного языка.

Неверно утверждение о том, что современный узбекский литературный язык есть чагатайский язык, поскольку, дескать, самим «чагатайцам» было неправильно присвоено имя узбеков. Узбекистан — есть детище пролетарской революции, современный узбекский литературный язык есть выражение процесса возникновения и развития нации и национальной культуры под эгидой советской власти в новых исторических условиях, невиданных историей.

Чагатайский язык есть продукт определенных исторических условий, определенной классовой культуры. С точки зрения науки позволительно говорить об элементах воздействия чагатайского языка на современный литературный узбекский язык, — это есть тема научного исследования, иная постановка абстрактна и не научна.

Акад. А. Н. Самойлович в предложенной им схеме периодизации истории «среднеазиатско-турецкого» литературного языка подчеркивает эту принципиальную особенность в развитии современного литературного языка.

«Четвертый период развития литературного «среднеазиатско-турецкого» языка, говорит А. Н. Самойлович, начинается на наших глазах, в XX в., и этот новый период, как сознают и его руководители, идет на смену периода «чагатайского» и потому уже не носит этого имени.

Язык четвертого периода называется литературным *узбекским* языком»¹.

Можно не говорить об абсолютной семантической неадекватности средневекового чагатайского литературного языка и современного литературного узбекского языка. В самом деле, Ильбек, напр., рекомендуя тер-

¹ А. Н. Самойлович. К истории среднеаз.-тур. яз. Сб. Мир-Али-Шир, Л., 1928, стр. 23.

мпыны из средневековой чагатайской литературы, неизбежно придает им произвольное значение, почему, напр., *سوراغ* (из Наваи) значит — «адрес» (?) и «вопрос»; *خاقان* — «император»; *خان بالق* (буквально «ханский город», «город хана») — «столица» (??) или *باشلق* «председатель», а не «главный», «начальник», «руководитель», «директор» и т. д. и т. п.?

Современный узбекский язык нельзя включить в синтаксические и морфологические рамки чагатайского языка.

Профессор Фитрат совершенно справедливо заметил в своей «Этимологии», что джадиды, развернувшие литературную и просвещенческую деятельность в конце XIX и начале XX ст., не смогли разрешить проблемы литературного языка. Буржуазно-демократические тенденции джадидов в области культуры и языка не могли быть реализованы в условиях колониального угнетения и собственной слабости в смысле общественно-экономических предпосылок их движения. Особенности джадидского движения нашли свое яркое отражение и в формах литературного языка этой эпохи.

Капиталистическое развитие всюду ставило перед местной национальной буржуазией проблему своей собственной национальной сферы влияния, буржуазного развития своей национальности, под ее, национальной буржуазии, гегемонией. В этой связи и проблема языка приобретала актуальное значение.

В редакционной статье «Сегодняшний вопрос» газета «Тарджуман» в номере от 5 августа 1911 г. подчеркивала, что для успеха мусульман России необходимы школы, образование, реформа литературы и языка, развитие экономики и искусства. Но экономическая и политическая слабость национальной буржуазии, сознание бессилия перед русским империализмом, вызвали химерические идеологические формы «джадидского» движения, то как движения мусульман России, то как движения турков-единоверцев. Панисламистские и пантуркистские тенденции джадидизма нашли свое выражение и в развитии литературных языков.

Та же газета «Тарджуман» неоднократно возвращалась к идее общетюркского языка для всех тюрков, или тюрков-мусульман России. Вопрос этот дебатировался на страницах газеты в 1905 году. На протяжении ряда лет газета пропагандирует идею общетюркского литературного языка. В 1913 г. в статье «Вопрос о языке и письме и наша печать» «Турджуман» снова обращается к проблеме языка. Для отсталых экономически и культурно народностей язык, утверждает газета, является не орудием, а идеей. Такой национальной идеей для «Тарджумана» всегда была

реформа языка в смысле внедрения турецких слов и искоренения арабских и персидских. «Мы постоянно преследовали и преследуем цель создания общего литературного турецкого языка», заканчивает газета (№ 94 от 26 апреля).

На такой же точке зрения находится и самаркандский журнал «Айна» Ходжа Ахмеда Бехбуди, который писал в журнале «Об объединении языка» в том же аспекте «унификации» и облегчении литературного языка турков (Til birləşdürmaq xəqənda, № 11, 1914 г.).

Любопытно, что, в частности, чагатайский язык газета «Турджуман» рассматривала как единый литературный язык тюркских народностей Туркестана, — точка зрения, которую разделяли впоследствии «чагатаисты» — поборники возвращения к классическому чагатайскому литературному языку.

Развиваясь в рамках старой орфографии на базе арабской письменности, литературный язык предреволюционной эпохи характеризуется сохранением традиционного синтаксиса и морфологии.

Наряду с этим, литературный язык этого периода сохраняет черты своеобразного промежуточного не национального, а межнационального языка пантюркистской буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции; основанием его, как и чагатайского языка, не был живой язык.

Особенно это проявляется в последовательной ориентации на анатолийско-турецкий язык. Об этом говорят, наприм., следующие строки из произведения, относящегося к 1917 г. писателя и поэта Ауляни:

حمد لر اولسون بن كمينه بوندن بر نچه يل اول «ادبيات» اسملى اثر
عاجزانه نك برنجى جزئى نيك ميدان انتشاره قويمش ايديم...
... بوندن صوك هم بنم قلم ايله نشر اوليته جق كتاب لرنى لطفاً ميدان
تعليمه قويماق ايله برابر طبعى اولان نقصان و كمچيليك لريمنى انسان ليك غه
حمل قيلوب...¹

Известная ограниченность самих форм литературы стесняла развитие литературного языка. Художественную прозу, вернее зачатки ее, видим только в драматических произведениях, наиболее эффективном средстве агитации и пропаганды в массах джадидской идеологии. Поэзия же совершенно не порвала с традиционными формами литературного языка.

Здесь нужно отметить и некоторое влияние русского синтаксиса на литературный язык этого периода. Об этом свидетельствуют следующие

¹ ادبيات آوانى 1917 г., Ташкент.

примеры из известной пьесы 1913 г. Махмуд Ходжи Бехбуди — «Падар куш»:

بو آقشام بيلمایمن نیمه اوچون ایچکیلیک منی تیشله مايدور.
نماز دیگر دن بری بر دوژینه شیشه نی بوشا تدم...

«В этот вечер, не знаю почему, алкоголь на меня не действует (меня не кусает). С сумерек дюжину бутылок опорожнил...» и т. п.

Изучение литературного языка эпохи 1905—1918 гг. представляется, как мы говорили, актуальнейшей задачей сравнительно-исторического изучения узбекского языка.

Переходим к вопросу о современном узбекском литературном языке.

Современный узбекский литературный язык, говорим мы, есть новое качество, в первую очередь потому, что развитие его покоится на национальном узбекском языке, близком трудящимся массам Узбекистана.

Движущим основанием развития узбекского литературного языка являются коренным образом изменившиеся общественные условия, принципиально отличные от его дореволюционных форм развития. Национальности Союза ССР «... развиваются и консолидируются, как нации, не под эгидой буржуазных порядков, а под эгидой советской власти. Это беспримерный факт в истории, но это все же факт» (И. В. Сталин). Этим определяется то обстоятельство, что за короткий период времени выросла молодая советская узбекская литература, создались новые формы художественной литературы и, что имеет особенно огромное значение для развития литературного языка, выросла художественная проза — одна из важнейших лабораторий литературного языка.

Огромное значение в этом революционном процессе формирования новых форм литературного языка занимает переводная литература, многочисленные переводы русской и иностранной литературы, книг и брошюр по различным отраслям науки и техники, переводы классиков марксизма. Это подлинная революция языка.

Развитие современного узбекского языка характеризуется быстрым накоплением сложных синтаксических форм, появлением новых типов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Процесс этот требует пристального внимания и внимательного исследования многообразных форм изменения синтаксической структуры языка. Приходится удивляться той огромной творческой деятельности, которая отводится переводам художественной и марксистской литературы с других языков, ибо здесь технической переводной работе сопутствует напряженная лингвистическая

мысль, ломающая рамки традиций, ищущая новые синтаксические формы, обогащающие и развивающие молодой литературный язык. Остановимся на нескольких примерах.

«Rubejkonıñ saqırğış suvoja tyşgən ucqundaj, ucdı. Unıñ tæklifini hec kim quvatlamadı, dakladdan son Ziman, bu projektniñ jaraqszlıqlıq ısbat qıluvoja urındı; otınñ temir joloqaca keltiryv usyn jol qıjnaıdyr. Ögrä balta vä jyklär jätışmäjdir».¹

В оригинале этот отрывок представляет собою *два* предложения. Второе одно предложение представляет собою сложно-подчиненное предложение с изъяснительными союзами «что», в придаточных, именно: «Никто не поддержал его предложения, а после доклада Зиман доказывал долго, что несостоятелен весь проект, что распутица помешает привезти дрова к железной дороге, что не хватит пил, топоров и подвод».

Переводчик разбил это одно предложение на два. Разбил произвольно, и не потому, что по-узбекски нельзя передать этого типа сложно-подчиненного предложения, а лишь потому, что им совершенно не было учтено то обстоятельство, что мы имеем в данном случае дело с *косвенной речью*, несвойственной узбекскому языку.

Но здесь факт неудовлетворительного перевода, отрицательный по существу, имеет огромное положительное значение в том смысле, что сигнализирует самую возможность косвенной речи в узбекском языке, сигнализирует возможность ее развития. Это так же очевидно, как и факт, касающийся порядка расположения слов в предложении. Традиция гласила: сначала подлежащее, за ним прямое дополнение, а в конце сказуемое, в простом распространенном предложении; придаточное, за ним главное со сказуемым в конце, в сложном предложении. Форма современной литературы, очерк и художественная проза заметно выходят за рамки этой синтаксической традиции не только в переводной литературе, напр.: «*Otın tajarlar planıñ ajtıb berdi ortaqlarına*» («Нәфт»)². Или другой пример, где опущен глагол — связка при сказуемом существительном: «*Bi ja ızagdan, qaranojuda körinmәj turojan deñiz tolqunıñ tavuşı ja qyda ızagdan kelgән kişi tavuşı*» («Темір ақым»)³.

И этот факт относится не только к переводной, но и к оригинальной литературе: «*Şu sojor çymlanı köz jaşlar bilән tugatıb mәngә qaradı Әkrәм*» (Оҗайратъ; «Qara jygәklәr») и т. д.

¹ Из перевода «Недели» Юр. Лебединского (перевод тов. Вурук'а).

² Ю. Лебединский «Неделя».

³ А. Серафимович «Железный поток».

Нужно заметить, что новые формы сложно-подчиненного предложения являются нарождающимися и развивающимися формами; почему в случаях сочетания подчинения и сочинения предложений мы имеем в переводной литературе, например, отступления, различного характера в художественной литературе и в переводах книг научного и общественно-политического содержания. В художественной литературе вопрос разрешается легче. Сравните, напр.: «Gornix ikki sutkədə bir minyt hām uxlamadъ. Өtkән кесә bir necә мәртәбәләб tintyv bulдъ. Boş çimçit кесә билән atda qajтb kelib horsyndъ. Ertәlәbgі savuq, ješinib ыssыq оғньоға kirib, jatъsnъ ojlatar edi. Lekin kytylmәgән сағда cekә unъ уslәb qaldъ. Aqгъb qaloqan ортағъ оғньоға nәvbәtci болъb qalyсqа тоғru keldi» («Нефтә»).

В оригинале в этом случае мы имеем как раз сочетание сочинения и подчинения и поэтому одно предложение, которое разбито в переводе на пять отдельных предложений, именно: «А Горных двое суток не спал ни минутки. Прошлую ночь была операция, целый ряд обысков, — и, возвращаясь верхом по пустынным улицам, вдыхал Горных морозный утренний воздух и мечтал о том, как разденется и ляжет в постель, но в Чека его неожиданно задержали, пришлось дежурить, вместо заболевшего товарища» («Неделя»).

В случаях слитных и сложно-сочиненных предложений задача с точки зрения синтаксиса узбекского языка решается легче, но с той оговоркой, о которой мы говорили, т. е. с точки зрения синтаксиса нового, ломающего традиционные синтаксические рамки. Напр.: «Rubejko byr-cәkdә, kickinә ustal ystidә gәzetәniң ertәgi nәmirigә baş maqala jazadъ, Zimannъ baqlana turoqan picirlәslәr, Karaulofnъ tola sözlәri vә'zәn Kli-minniң qoңoғraqdaj tavuшъ bunоға xalaqt verәdirләр vә onоqajsъz сыqqan sözlәrni оcyriv, vaсqasъnъ tutadъr, qдыроqan sözini tapuvъ hamana hәrflәр ketidән hәrflәrni qatarlaştъrъb taşlajдъr vә aldъda, geјә tumanda, bir qanca tәsvirli sözlәrni көryb, ularnъ tezlik bilән biri ketidән birini taxlab ular arqaly fikriniң dәрәcәsi bilән varоqan saғъ joqarыlav varъsъnъ tә'min оtyvgә тыръsadъr» («Нефтә»).

На первый взгляд может показаться, что здесь, по существу, мы имеем, с точки зрения синтаксиса узбекского языка, ряд предложений, условно объединенных рамками оригинала, но надо сказать, что этот тип новой синтаксической конструкции завоевывает себе права гражданства в современном узбекском литературном языке.

Выше мы говорили о быстром накоплении в современном узбекском литературном языке сложных синтаксических форм, имея ввиду появление

на место деепричастных и так называемых условно-уступительных оборотов новых форм сложно-подчиненных предложений.

Это имеет огромное значение и находит, в ряде случаев, блестящее выражение в переводной и оригинальной литературе. Примером может служить перевод Чулпана с русского языка «Шинели» Н. В. Гоголя. Достаточно привести одну иллюстрацию перевода сложно-подчиненного предложения сложно-подчиненным же на узбекском языке: «Qanca direktirlər və nə qadar başlıqlar jənilənib ketdilər, şunda həm bu kişini haman bir vəziyyətdə, haman bir mənsəbdə, haman oşa xat jazucə tərə olaraq kərdilər və şunı, ucun u kişini padşahlıq kiyimi kiygən və rəşənəsi sıjqa halda, tap-tajjar dunjaqa kelgənligigə ıřana qalar edilər».

Проблема синтаксиса имеет колоссально важное значение в развитии современного узбекского литературного языка, поскольку невиданные историей темпы национально-культурного строительства объективно требуют в минимально короткий срок развития таких форм литературного языка, которые обеспечивали бы подъем национальной по форме, социалистической по содержанию культуры. И мы не случайно остановились на переводной литературе, поскольку она интересует нас не с точки зрения влияния синтаксиса русского или иного языка на развитие синтаксической структуры узбекского литературного языка, а с точки зрения того факта, что эта переводная литература является как бы показателем, наиболее ярко иллюстрирующим собственное его развитие наряду с ростом новых форм национальной художественной и научной литературы и т. д.

И, с другой стороны, совершенно очевидно, например, что нельзя «простым» в смысле синтаксических форм языком передать всего богатства теоретической мысли, заключенного хотя бы в произведениях классиков марксизма, которые переводятся на узбекский язык. Либеральные любители простоты, утверждающие, что современный узбекский литературный язык непонятен массам, должны были бы понять, что самое понятие простоты, с точки зрения литературного языка, понятие весьма условное. Карл Маркс был величайшим мастером слова, мастером стиля, как и В. И. Ленин, и И. В. Сталин, мастером излагать сложнейшие теоретические проблемы доступным для масс языком. Но мы должны поднимать массы на высокий идейно-теоретический уровень, чтобы подготовить их к чтению и усвоению произведений классиков марксизма, должны подготовить и развить собственное теоретическое мышление читателя. Только в этом случае понятие простоты языка может быть действительным. Абсурдно требовать, например, чтобы для «простоты», во всех

случаях изложения мысли, прибегали только к простым синтаксическим формам, преобладающим в обиходно-разговорной речи.

Перед нами, например, перевод брошюры И. В. Сталина «Об основах ленинизма» на узбекском языке под редакцией Наим Саида (Ташкент, 1931). Здесь в этом переводе бросается в глаза, наряду с трудностью, проистекающей из семантической неадекватности слов и буквального перевода терминов, без всякого их разъяснения (*Istixijə «nəzəriyəsi»* — «Теория стихийности», стр. 18 и др. *finans kəpitəli* — «Финансовый капитал», стр. 19 и др. *toxtavsyz, toxtavsyzсылар* — «Перманентный, перманентники», стр. 25 и т. д.) синтаксическая структура перевода, выражающая самое содержание брошюры, само собою разумеется, иными синтаксическими формами, чем то дано в русском ее оригинале.

Синтаксическая структура является, следовательно, решающим моментом в данном случае. Возьмем для иллюстрации этой мысли один единственный пример. Переводчик переводит цитату из собр. сочин. В. И. Ленина следующим образом: «*Əgər ekspluatatsýýasýlar — deýdir Lenin — bir ölkədəginə jənilgən bolsa, bu esə addý hadýsadyr. Cynki, bir qanca ölkə-lərdə ынqýlabнын bir vaqtda jyz əgə сыquvь kəm usrajturoqan hallardan дýr. Bu vaqtda ular експулоататсыја астыда жаýавсыларнын кyclirək volьв qalyьda davam qýladýrlar*» (стр. 29), т. е. в переводе перед нами три грамматических предложения: «Если эксплуататоры — говорит Ленин — только в одной стране окажутся разбитыми, — то, что касается этого — это есть типичный случай».

«Ибо появление революции в нескольких странах в одно время есть явление, из редко встречаемых».

«В это время они продолжают оставаться, будучи сильнее живущих под гнетом эксплуатации» (т. е. эксплуатируемых).

В оригинале же одно сложное предложение, где наряду с подчинением внесено обособленное предложение.

«Если эксплуататоры разбиты только в одной стране, говорит Ленин, — а это, конечно, типичный случай, ибо одновременные революции в ряде стран есть редкое исключение, — то они остаются все же сильнее эксплуатируемых» (том XXIII, стр. 354).

Даже не искушенный в грамматике скажет, что в данном конкретном случае мы имеем не одно и то же по смыслу. Эта семантическая неадекватность усугубляется особенностью синтаксической структуры сложного предложения в узбекском языке, где, в определенных типах предложения, как правило, главное предложение следует за придаточным, в противополож-

ность структуре сложного предложения в русском языке. Например: «Burzuazýjanıñ qarşı turıǵıńıń jemiriş və dajqanlar mǵdǵı burzuazýjanıñ boş bolıǵıńıń sındıruv ısyn, xəlq ıcidǵı jarǵm ıraletar ammalarıńıń ózigə qoşıb ıroletariatqa sosyalyst ózgərişini jyzǵa sıqaruv lazımdıǵ...» (стр. 23), т. е., «Чтобы сломить сопротивление буржуазии и неустойчивость мелкой буржуазии и крестьянства, присоединив к себе массу полу-пролетариата, находящегося среди населения, пролетариату необходимо проведение социалистического переворота». Оригинал же гласит следующее: «Пролетариат должен совершить социалистический переворот, присоединя к себе массу полу-пролетарских элементов населения, чтобы сломить силы сопротивления буржуазии и парализовать неустойчивость крестьянства и мелкой буржуазии». (Ленин, Собр. сочин., том VIII, стр. 96, Сталин «Вопросы ленинизма», изд. IX, стр. 23).

Все вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что в проблеме синтаксиса упираются существеннейшие стороны развития современного узбекского литературного языка, и задача научного исследования синтаксиса является актуальнейшей на данном этапе.

Историческое развитие среднеазиатского литературного языка протекало в рамках феодальной культуры, под сильнейшим воздействием арабско-персидской письменности, литературы и языков. Эти исторические условия обуславливают наличие арабско-персидских элементов в узбекском языке. Удельный вес этих элементов арабского и персидского языков настолько значителен, что развитие терминологии, например, в рамках современного литературного языка, протекало часто за счет арабско-персидских терминов: *ıctima'j* *musabaqa* «социалистическое соревнование» *Şura* «Совет» *Şura hokuməti* «Советская власть» и т. д. и т. п.

Но эти же арабско-персидские элементы обуславливают развитие новых синтаксических форм литературного языка. Речь идет именно о союзах, необходимых звеньях развития форм слитного, сложно-сочиненного и сложно-подчиненного предложения. С этой точки зрения можно сказать, что чем большим числом и разнообразием союзов располагает литературный язык, тем больше условий существует для развития его сложных синтаксических форм.

Пути развития современного узбекского литературного языка предполагают развертывание всех возможностей, всех исторически данных условий его развития. Некоторые представляют себе дело так, что узбекский литературный язык не имеет исторической перспективы, что все внимание необходимо обратить на изучение живых говоров и диалектов, а не на

историю развития литературного языка. Логическим выводом отсюда являются многочисленные дебаты о том, какой из существующих диалектов необходимо положить в основу развития современного узбекского литературного языка, какой диалект «чище» и «непосредственной». Самые речи о «споре диалектов» часто сводятся к весьма остроумным выводам, именно: предлагается писателям, представляющим различные районы Узбекистана, писать на различных диалектах и этим решить когда-нибудь вопрос о «первенстве» того или иного диалекта. Под этими дебатами скрываются часто либерально-буржуазные тенденции. Научным обоснованием различных точек зрения в этих дебатах являются большей частью данные фонетики и частью морфологии. Это не случайно, ибо, только превратив одну сторону развития литературного языка в абсолют, можно серьезно обсуждать споры о преимуществе различных диалектов. Максим Горький, в одной из своих критико-литературных статей, в чрезвычайно резкой форме ответил на письмо одного из своих читателей, склонявшегося на точку зрения необходимости «упрощения» литературного языка и его смыкания с народными говорами. И эта резкость писателя совершенно справедлива.

Литературный язык есть культурная ценность, которую взял в свои руки и развивает пролетариат в интересах нового социалистического общества и от которой не намерен отказываться.

Предварительно мы намечаем ряд периодов в развитии современного литературного узбекского языка: первый период от образования Туркестанской Республики до национального размежевания (1918—1924 гг.); второй период от 1924 до 1929 г., связанный с реформами арабской письменности и развитием новых форм национальной литературы, и третий, современный период, начиная с 1929 г. хронологически совпадающий с мощным социалистическим строительством в республиках Средней Азии на основе первого и второго пятилетнего плана.

Нет сомнения, что будущее развитие узбекского литературного языка обнаружит и выявит все потенции, исторически данные, но одновременно его развитие будет идти за счет диалектологических элементов — ассимиляции диалектов, впитывания в себя, сращивания с языком широких трудящихся масс, но уже на основе литературного языка. Невиданный культурный подъем трудящихся создает все условия для действительной общности узбекского литературного языка.

Развитие литературного языка никогда не имело такой широкой социальной базы, как это имеет место в условиях диктатуры пролетариата. Это является действительной гарантией и залогом его быстрого развития.

Задачи научного исследования современного узбекского литературного языка требуют широкой организации научно-исследовательской работы. Изучение истории узбекского литературного языка и истории его развития после Октябрьской революции, на материалах живой и многообразной действительности, является неотложной задачей, как и научная разработка морфологии и синтаксиса современного узбекского языка, опять-таки на базе материалов, как это ни странно, не изученных и не исследованных.

Между тем только научная постановка исследования морфологии современного узбекского литературного языка двинет вперед проблему орфографии, естественно остающейся актуальной проблемой на данный и на ближайший периоды времени.

В свою очередь изучение синтаксиса есть узловая задача научного исследования, к которой необходимо привлечь наиболее широкое внимание. Разработка синтаксиса решит одновременно проблему развернутой пунктуации и, что является главным, даст возможность подвести широкую учебную базу для литературного языка и развития литературного произношения и вообще придаст ему необходимое широкое образовательное значение.

Что дала латинизация письменности для дальнейшего движения узбекского литературного языка? Латинизация письменности, в первую очередь, обеспечила технические предпосылки его бурного развития.

Возможно ли было широкое развитие новых форм литературного языка в рамках дореформенной арабской письменности, когда морфология и орфография были заключены в рамки этимологии, а развитие новых синтаксических форм упиралось в традицию рукописной письменности, не знавшей пунктуации, заглавных и прописных букв, сливавшей предложения и бесконечную цепь синтаксически-однообразных предложений, чем, единственно, объяснялась возможность осмысленного чтения?

История говорит, что движение национальных литературных языков упирается в определенный период в рукописную традицию письменности, если с таковой началось это движение. Этот период связан с развитием предпосылок полиграфической техники и развитием форм самого национального литературного языка. Лишь более или менее резкий разрыв литературного языка с национальным языком сохраняет в новой технической оболочке традиции рукописной письменности. Но и при сохранении рукописной традиции письменности она толкает с течением времени на «реформы», — уже в период «джадидизма» мы наблюдаем стремление ввести пунктуацию в письменности. Двукратная реформа арабской пись-

менности в Узбекистане и других национальных республиках еще раз подтверждает ту нашу мысль, что рамки рукописной традиции письменности могут более или менее долгий исторический срок сохраняться, но не обеспечивают высших форм движения литературного языка.

Об этом свидетельствует, наконец, еще один известный факт, имевший место, в частности, и в истории развития узбекского литературного языка.

Буржуазно-либеральное равнение на «культурную отсталость» явилось основой движения за своеобразное «упрощение», в целях, будто бы, педагогических и прочих, приемов новой печатной латинизированной графики, в смысле известного смыкания современных графических приемов письменности с рукописной традицией последней. Мы говорим о периоде, когда были «устранены» в узбекском и других алфавитах заглавные буквы и введены одни строчные.

Высшие формы развития национального литературного языка требуют высокоразвитой технико-графической основы. Латинизация письменности и разработка развернутой пунктуации, освоение современных технических достижений полиграфии, являются, таким образом, исторически и логически необходимым условием развития высших форм литературного языка. И здесь в этой области предстоят дальнейшие шаги в разработке технических условий, обеспечивающих мощное развитие современного узбекского литературного языка.

Техническое и графическое усовершенствование алфавита одновременно с орфографической реформой письменности представляются сейчас необходимыми шагами в этой области.

Реформа орфографии важна сейчас как необходимая практическая проблема в Узбекистане и, по всей вероятности, встанет в ряде других национальных республик и областей. Ибо самая реформа обусловлена объективными условиями развития национальных языков и письменности в СССР.

Если в первый период — период ленинского разрешения национального вопроса в Союзе ССР мы имеем огромной силы подъем национальной культуры и просвещения на базе развития формировавшихся, создававшихся национальных литературных языков, то в настоящий период построения экономической основы социалистического общества и развернутого социалистического строительства развитие национальных литературных языков неизбежно вступает в новую фазу, поскольку во сто крат увеличился размах пролетарской и колхозно-пролетарской литературы в национальных республиках и областях, развиваются все новые формы

литературы, неизмеримо выросло просвещение и образование, а с ним и образовательное значение национальных литературных языков.

Чем вызвана реформа узбекской орфографии?

Во-первых, тем, что современная узбекская орфография не есть историческая орфография, т. е. орфография, построенная на исторической традиции. Только в тех случаях, когда в определенный исторический отрезок времени буржуазного развития национальный литературный язык насчитывает определенный период «демократизации», в нем устанавливается определенная преемственность с предшествовавшими формами литературного языка вместе с культурной преемственностью и взаимодействием феодальной и буржуазной культуры (причем зачастую в пользу именно феодальных элементов; стоит сравнить английскую орфографию или современный японский литературный язык), а наряду с этим в рамках капитализма вырастают литературные движения пролетарской демократии, крепнет развитие новых форм литературного языка.

Традиция исторического развития литературы и литературного языка не связывает современный узбекский литературный язык с феодальным и колониальным прошлым — движение их идет по пути некапиталистического развития. Этим объясняется тот факт, что в первый период узбекская латинизированная орфография строилась на фонетическом сугубо принципе в рамках сближения с языком масс, нащупыванием связей с языком масс, а отсюда естественно — известный крен в сторону учета разнообразных диалектических особенностей в произношении и морфологии.

За основу орфографии была взята система гармонии гласных, присущая узбекским диалектам, наряду с чем были введены девять букв для обозначения гласных.

На самом же деле диалектам городских центров чужда гармония гласных, в силу чего усвоение девяти гласных представляло значительнейшее препятствие, — орфография затрудняла усвоение литературного языка, снижала его общезначимость и образовательное значение, приводила к целой путанице: вплоть до наличия нескольких своего рода «орфографических систем» в различных издательствах и типографиях.¹ Последнее совещание при ЦК НА в Москве пришло к заключению, что количество гласных необходимо сократить до пяти, либо шести, в связи с чем провести реформу орфографии.

¹ Особенно большой разницей наблюдается в правописании заимствованных слов, написание которых основывается на фонетическом принципе: *bolşevik, bolşevik, balşevik, koperativ, kəpiretif, Kruptskəja, Gorki, Məskəv, Moskva, gəzetə, gazetə, xərkəter, Çənəvə* (iКенева) и т. п.

Но, разумеется, орфографический разноречивый находит свое выражение и в правописании морфологических аффиксов в правописании вообще.

Решение это правильно учитывает необходимость реформы в том смысле, что узбекская орфография, построенная не на исторической традиции, все же должна быть построена на той предпосылке, что орфография должна учесть огромное образовательное значение литературного языка, иначе говоря, отвлечься от диалектологического многообразия и служить основой для развития литературного произношения и уничтожения разницы между диалектами, разговорным языком и литературным языком на почве последнего. Научное обоснование реформы узбекской орфографии требует особого исследования, но все же прогрессивность ее не вызывает никакого сомнения.

Наряду с реформой узбекской орфографии встает тесно к ней примыкающая — проблема терминологии. Общие предпосылки разрешения проблемы терминологии по сути дела даны в замечаниях Энгельса, в критике Эрфуртской программы, которые неоднократно затем цитировал В. И. Ленин, и в той мысли Ф. Энгельса, которую он излагает в «Развитии социализма»..., именно: «Что касается формы, то можно было думать, что многие иностранные слова вызовут недоразумения. Но уже Лассаль в своих речах и пропагандистских брошюрах не стеснялся употреблять иностранные слова, и, поскольку мне известно, на это особенно не жаловались. А с того времени наши рабочие гораздо усерднее и более регулярно читают газеты и по тому самому больше освоились с иностранными словами. Я ограничился тем, что устранил все не безусловно необходимые слова.

Но, оставляя необходимые, я отказался от присоединения к ним так называемых пояснительных переводов. Такие необходимые иностранные слова, в большинстве случаев представляющие общепринятые научно-технические выражения, не были бы необходимы, если бы их можно было перевести. Перевод только искажает их смысл; вместо того, чтобы объяснить, он вносит путаницу. Устные разъяснения помогают в таком случае гораздо больше».¹

Надо полагать, что проблема технической терминологии, с одной стороны, и терминологии по различным отраслям знаний, с другой, потребует в скором времени организации всесоюзных совещаний и конференций и напряженной работы больших коллективов специалистов, ибо в рамках национальных терминологических комиссий все сложнее и сложнее становится разрешение отдельных терминологических проблем.

¹ Ф. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке, стр. 7.

Язык и Мышление, II.

Н. В. ЮШМАНОВ

Редкий случай стирания служебной частицы

Известно, что служебные частицы любого языка подвержены стиранию в большей мере, чем другие слова. Это объясняется тем, что при слишком частом употреблении и при слишком общем, крайне отвлеченном значении служебные частицы не требуют тщательного и полновесного произношения для того только, чтобы служить сигналом вспомогательного характера, не меняющего сути дела в обычном предложении (т. е. в таком, которое не придумано или подыскано нарочно при желании сострить, оперируя какой-нибудь мелочью).

Один из редких случаев стирания служебной частицы — арабский определенный член ال . Он не изменяется ни по родам, ни по числам, ни по падежам (так же, как английское *the*), но меняет свою форму на 42 лада, ничуть не затрагивая этим своей значимости: *ʕal*, *ig*, *ut* и т. д.

Определенный член пишется по-арабски почти всегда ال , т. е. *ʕalif* + *lām*. Архаическая его форма *ʕal* восходит несомненно к **hal*, как об этом можно судить на основании указательных речений близости, например, *hā* 'вот' → *hādā* 'этот', *hādih* 'эта', *hāʕulāʕi* 'эти', а также еврейского определенного члена -ל *ha-* (с последующей геминацией), например, *haʕālāḥ* 'царь'. Это указательное *h-* объединяет большинство семитских языков, тогда как меньшинство их и все хамитские языки выражают указание близости по сибилантной норме *ш-* || *s-*. Прежде чем обратиться к прилагаемой таблице соответствующих частиц в языках Средиземноморья, заметим, что первоначальное значение всех указательных частиц было 'рука' и что оно восходит непосредственно к ручной речи. Дело в том, что как это ни странно, до сих пор ни одно языковедное пособие не отмечает и не объясняет связи между указательными и принудительными формами — демонстративом и каузативом — в языках семитских, хамитских и прометеидских (индо-европейских). Взгляд на таблицу показывает эту связь, а чтобы объяснить такую, достаточно привлечь описательные каузативы современных евро-

пейских языков: *dam* написать, *faire écrire*, *schreiben lassen*... Оказывается, что все вспомогательные средства описательного каузатива выражают самые простые и обычные действия 'руки'; но теперь у нас глаголы, а была эпоха речи без глаголов и вообще без морфологических различий. Такая аморфная речь должна была выражать простейшие действия руки самым словом 'рука', сменившим или даже сопровождавшим жест. Ведь первоначальная звуковая речь еще не могла располагать большой синонимикой позднейших языков. Демонстратив и каузатив — архаическое единство.

Что касается арабского определенного члена *ʕal*, многообразие его произносительных форм обуславливается (кроме вышеуказанных причин статистического и семантического порядка) слабостью начального согласного и исключительностью способа образования звука *l* (сонорный латеральный) среди всех прочих арабских переднеязычных. Начало члена *ʕal* сохраняется лишь в начале речи, а среди речи вытесняется концом предыдущего слова, напр. *ʕalbajt* 'дом', но *fi_lbajt* 'в доме'. Вокализм классического арабского языка небогат: только три гласных фонемы *a*, *i*, *u* в двух количествах (краткие и долгие); но долгий гласный в закрытом слоге сокращается, и приходится считаться лишь с краткими *a*, *i*, *u*. Конец члена *ʕal* уподобляется полностью последующему переднеязычному согласному, например *ʕašadr* 'грудь', *fi_šadr* 'в груди'. Весь консонантизм классического арабского языка (28 единиц) делится поровну на

уподобляющие			неуподобляющие		
ت <i>t</i>	د <i>d</i>	ط <i>ḍ</i>	ك <i>k</i>	ج <i>g</i>	ق <i>g̃</i>
ث <i>θ</i>	ذ <i>ḏ</i>	ظ <i>ḏ̣</i>	ا <i>ʔ</i>	ح <i>ħ</i>	خ <i>χ</i>
س <i>s</i>	ز <i>z</i>	ص <i>ṣ</i>	ه <i>h</i>	ع <i>ʕ</i>	ح <i>ħ</i>
ش <i>ʃ</i>	ر <i>r</i>	ض <i>ḏ̣</i>	ي <i>y</i>	و <i>w</i>	ب <i>b</i>
	ل <i>l</i>		م <i>m</i>		
	ن <i>n</i>				

В чтении арабского текста, принятом в Европе и в арабских городах Африки и Малой Азии, *ط* = *t*, *ش* = *ʃ*, *ض* = *ḏ̣*, *ج* = *ḏ̣* или *j*, *ق* = *ḳ*. Однако, уподобление *lḏ̣* → *ḏ̣* в литературной речи не допускается, например *ʕalgabr* || *ʕalḏ̣abr* 'алгебра'. В диалектах разговорной речи дело обстоит иначе: в Египте, где *ج* = *g*, имеем одинаково и *lg* → *ḡ* и *lk* → *ḳ*.

Если помножим число гласных фонем (3) на число уподобляющих согласных (14), получим 42 формы для члена *ال*; если же учтем, что *ʕ*

сохраняется у члена только в начале речи и не сохраняется среди речи, можем добавить еще 14 форм (на *ʕa-*) и получим 56 форм, но те формы обусловлены положением и присчитывать их лишнее.

При таком поразительном разнообразии форм для одного и того же понятия оказывается, что сигналом определенного члена является только сочетание «любой гласный + темп двух согласных» (именно только темп, так как реальное фонетическое исполнение может быть весьма различно: «l + другой (не переднеязычный) согласный» или «удвоение * начального согласного в слове»). В живой речи можно ожидать послабления даже для принципа «l + другой согласный»; например, вместо классического *ʕalbāḡiḥ* 'вчера' во многих современных говорах употребляется *ʕbāḡeḥ*, где разнородное сочетание *lb* уступает свое место однородному сочетанию *mb* (правда, в подобных целостных предложениях определенный член давно уже не сознается говорящим).

Исключительный случай из области того же члена *ʕl* представляет слово «Аллах». В основе это *ʕilāh*¹ 'божество', соответствующее еврейским *ʕālōh* || *ʕālōhīm*, арамейским *ʕālāh* || *ʕālāhā*. С определением посредством члена *ʕl* **ʕalʕilāh*² переработалось в устах усердных церковников и мракобесов в совершенно исключительный комплекс *ʕālāh*³, где стечение двух *l* при низкотэмбровом исполнении этого слова в обычном кораническом речитативе привело к звуку *l* (=t, лъ), который неизвестен древним арабским грамматикам и который допускается поздними орфоэпистами лишь в одном этом слове, но и те только после *a*, *u*; после *i* произносится обычное *l* (вроде «лъ»): *ya-ḡālāh*³ 'о, Аллах', *ʕabdu-ḡālāh*³ 'раб Аллаха', но *b-ismi-ḡālāh*³ 'во имя Аллаха'.

Приложение. Сравнительная таблица демонстратива и каузатива по семитским, хамитским и протоеидским языкам.¹

I. Семитские языки	'Он'	'Она'	'Они'	'Они (ж)'	Caus.
Еврейский и финикийский	<i>hū</i>	<i>hī</i>	<i>hēm</i>	<i>hēn</i>	<i>hi-</i>
Арамейские наречия	<i>hū</i>	<i>hī</i>	<i>hīmō'n</i> ¹	<i>hēyēn</i>	<i>ha-, ʕa-</i> ²
Арабский (северный)	<i>hu'w'a</i>	<i>hi'y'a</i>	<i>hum'ū</i> ¹	<i>huṇa</i>	<i>ha-, ʕa-</i> ³

¹ Если нет подходящих форм для субъектных местоимений, взяты объектные ('его', 'ее', 'их'). Черточка спереди (-s) показывает суффиксацию, а черточка позади (-s) — префиксацию. Многоточие показывает отсутствие соответствующего материала. Знак '1' чередование с нулем, отпадаемость.

² В библейско-арамейском *ha-*, в прочих наречиях *ʕa-*.

³ Лишь в немногих архаизмах *ha-*; иначе *ʕa-*.

Эфиопский (классический)	(Осложненные формы; всюду- <i>ʃ</i> -) <i>ʃa-</i>				
Сабейский (надписи Южн. Аравии)	-hw	-h	-hmw	-hn	h-
Мехри	живые наречия	hc h ₁	se ¹	hem	sen
Сокотри		yhe	se	yhem	sen
Аккадский (клинопись)		šū	šī	šun ^ʔ u ^ʔ	šina
Минейский (надп. Южн. Аравии)		-šw	...	-šmw	...
Эхили (живое нар. Южн. Аравии)		še	se	šum	sen

II. Хамитские языки

Египетский (иероглифы)	sw	sy	sn	s-
Шильх (бербер. группа)	-s	-s	-sən	-sənt
Галла (кушит. группа)	isa	isi	isan	-(sī)sa
Хауса (вне групп) ²	ш; ya	[ta]	su ^ʔ n ^ʔ	-s, y ₁ -
Нама (готтент. группа)	(Возвратные глаголы на -sən)			-s ₁

III. Прометеидские языки

Санскрит имеет *yas* 'который' и суффикс каузатива *-ya*, например, *sādā-ya-ti* 'сажает'. В славянских языках широко распространен соответствующий местоименный корень *yī* 'он' (→ его, ему, их...), образующий также членную форму прилагательных (добрый, добрая, доброе...) и представленный в каузативе *-i-* (белит, садит, поит).

¹ Общая черта современных южноарабских наречий: женские местоимения 3-го лица имеют начало *s-*. Очевидно, из скрещения двух демонстративов **t-še*, **t-šep* (ср. сокотринские *y-he*, *y-hem* для мужского рода, где *y-* то же, что в имперфекте араб. *ya-*, евр. *yī-*; хауса *ya-*). Таким же образом всюду *saʔ* '9' ← **t-šaʔ* (араб. *tisʔ*, евр. *tēšaʔ*). Упрощение **tš* → *s* противопоставляется упрощению **št* → *š* в префиксе каузатива-рефлексиа этих же наречий.

² Формы *ш* 'он' и *su^ʔn^ʔ* 'они' принадлежат к одному и тому же корню (*s-*), но по специфическим слоговым законам хауса, напоминающим японские, переднеязычные шумные согласные оказываются всегда шипящими (*ш*, *ʃ*, *tʃ*, *dʃ*) перед «мягкими» гласными *e*, *i* и всегда нешипящими (*s*, *z*, *t*, *d*) перед «твердыми» гласными (*a*, *o*, *u*). Формы *ya* 'он, который' и *ta* 'она, которая' соответствуют субъектным префиксам семитского имперфекта, напр. араб. *ya-ktub* 'он пишет', *ta-ktub* 'она пишет'.

Н. В. ЮШМАНОВ

Палеонтологические пережитки в языке басен Локмана

В арабской литературе есть любопытное произведение, известное под заглавием «Басни Локмана Мудрого» (*ṣamṯāl Luḳmān alḥakīm*). Оно поражает своим простым слогом, резко отличным от витиеватого слога остальной арабской литературы, и потому используется в качестве учебного текста для начинающих, особенно во Франции, где уже неоднократно переиздавалось и продолжает переиздаваться. Происхождение этих басен, в общем напоминающих басни Эзопа, остается загадочным несмотря на всестороннее и тщательное историко-литературное исследование, которое произведено французскими востоковедами.¹ Самое имя Локмана упоминается уже в Коране (XXXI, 11—12), но басни известны только из поздних рукописей, отчего и не считаются древними. Обследование языка этих басен до сих пор обнаруживало только вульгаризмы — схождения с современными живыми говорами, что еще больше укрепляло распространенное мнение о позднем происхождении этих басен, хотя вульгаризмы можно было бы достаточно объяснить и поздней записью древнего устного творчества. Однако, занимаясь этим текстом как учебным пособием для своих студентов, я уже давно обратил внимание на некоторые странности слога, говорящие отнюдь не о позднем происхождении этих басен и объяснимые, повидимому, только как палеонтологические пережитки, чуждые даже старым произведениям классической литературы. Полагаю, что этих «странностей» в первоначальном тексте было гораздо больше, но что позднейшие рассказчики и редакторы устранили их, где могли.

Прежде всего удивительны определения, лишние не только с нашей современной точки зрения, но и с точки зрения классического арабского языка: *ḥaṣṣu māʿ*¹ⁿ 'родник воды' (басни №№ 2 и 9), *nahlatu-lḥasal*¹ 'пчела меда' (басня № 24), *nahru māʿ*¹ⁿ 'река воды' (басня № 25). Если учесть,

¹ René Basset. *Loqmān berbère*. Paris, 1890. — V. Chauvin. *Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes*, vol. III. — *Louqmāne et les fabulistes*. — Bar'aam. *Antar et les romans de chevalerie*. Liège, 1898.

что ḫaṣṣ ^{an} значит 'глаз' и 'родник', прибавка māḥ ⁱⁿ 'воды' помогала бы отличить одно значение полисемантического слова от другого; хотя контекст и так не возбуждает сомнения в том, что речь идет о воде. Но naḥr ^{an} вместе с аккадским nāḡu , еврейским nāḥār и арамейским naḥgā значит только 'река', 'поток'; это позволяет предположить, что прибавка māḥ ⁱⁿ 'воды' была потребна в ту эпоху, когда единое * na-har еще не раздвоилось на naḥār ^{an} 'день' и naḥar ^{an} || naḥr ^{an} 'река' — вопрос, которого недавно коснулся Н. Я. Марр.¹ Что касается 'пчелы меда', это явление совершенно иного порядка, нежели термин современной зоологической латыни *Apis mellifica*; подобные двойные термины установились лишь в современной европейской науке, тогда как у широких народных масс пчела называется нередко 'медовой мухой' (греческое $\mu\acute{\epsilon}\lambda\iota\tau\tau\alpha$ || $\mu\acute{\epsilon}\lambda\iota\sigma\sigma\alpha$, хауса kuda-n zuma). В басне № 36 есть выражение $\text{gūrātu māḥin yaṣāl}$ ⁿ 'яма проточной воды' в смысле термина кожевенного производства — 'мочильня для шкур'; это выражение напоминает ранее приведенные, но слово gūra ^{tan} || gawra ^{tan} неизвестно в классической литературе и его нет, например, в двадцатитомном туземном словаре «*Lisān alḫaṣab*».

Другая черта палеонтологического характера — полисемантизм без всяких выделительных или уточнительных прибавок. Сюда относится любопытное место из басни № 2: $\text{fa lamā daḫala fi-lḡabal wa ḫabaga baṣna}$ 'и когда (олень) вошел в гору и прошел между деревьев'. Никакого предупреждения о том, что на этой 'горе' растут 'деревья'! Напрашивается мысль о том, что 'гора' здесь одновременно значит и 'лес'. Ведь у многих народов по условиям их географического и хозяйственного бытия 'гора' и 'лес' совпадают или когда-то совпадали; например, болгарское «горà», сербское «гòра», испанское *monte*; тюркское taḡ || daḡ 'гора', а якутское тыа 'лес', 'тайга'; албанское общее maḷ 'гора', а на Украине 'лес'; японское общее yama 'гора', а в кюсюских говорах 'лес'.²

Как известно, в арабском словаре полисемантизм держится особенно прочно в виде слов с двумя противоположными значениями, напр. mawla ⁿ 'господин' и 'раб', ta-maḥwala 'разбогател' и 'обеднел', ḥanīf ^{an} 'праведник' и 'язычник' (об этом есть специальная статья Н. Я. Марра). И вот в басне № 39 на коротком пространстве одно и то же слово ḫaṣḥab ^{an} (множественное ломаное от ṣāḥib ^{an} 'хозяин' и 'друг') употреблено и в смысле 'хозяев' собаки (= людей) и в смысле 'друзей' собаки (= собак же).

¹ Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык, М., 1931, стр. 66.

² Н. С. Державин. Албановедение и албанцы («Язык и литература», т. I, стр. 188). — Д. Поливанов. Введение в языкознание для востоковедных ВУЗов, Л., 1928, стр. 32.

С. М. ДОБРОГАЕВ

Звукопроизносительная речь нормально-слышащих и кинетическая речевая коммуникация глухонемых

I

Исследование звукопроизносительной речи нормально-слышащих с учетом тех данных, которые получают при изучении речи глухонемых, а также изучение речи глухонемых в аспекте нового учения о языке и научных данных, полученных в физиологии речи, приводят к таким выводам, которые интересны и для лингвиста и для сурдопедагога.

Слуховой аппарат имеет настолько важное значение во всяком явлении жизни человека, как соучастника всех производственно-трудовых процессов, происходящих при непрерывной функциональной работе так называемых дистансцепторов — слуха и зрения, что исключение слуха с момента рождения человека ведет к чрезвычайно своеобразным особенностям личности такого глухого. Современная социально-полноценная речь является прежде всего речью звукопроизносительной, хотя и тесно, вернее — взаимодейственно увязанной со своими мимико-жестикulatorными компонентами. У тотального глухого слухо-произношение невозможно и, как мы увидим далее, его кинетическую речь должно назвать речью с известными ограничениями, т. е. должно признать своеобразной специализированной системой кинетико-лицевых и ручных сигналов и символов,¹ создаваемых заказами групповой жизни глухонемых на коммуникационные взаимоотношения, оформляемые у слышащих в словесно-звуковых комплексах. Конечно, здесь не приходится говорить о чистой дактилологии, которая представляет собою перевод звукопроизносительных комплексов речи на систему движений пальцев для обозначения тех или других звуков устной и знаков графической речи.

Подходя к проблеме значения слуха в возникновении человеческой речи, рассмотрим сущность и значение гомологичных слухо-звуковых комплексов

¹ Учение о сигнальном символизме речевых рефлексов подробно изложено в моей работе «Учение о рефлексе в проблемах лингвистики», сб. «Лингвистика и материализм» ИЛАЗВ, 1931.

в дочеловеческом прошлом животного мира — в жизни очеловечивающегося стада обезьян, т. е. сделаем исследование поставленного вопроса в эволюционно-филогенетическом аспекте.

В эволюционно-филогенетическом прошлом нашего организма, в дочеловеческом, животном состоянии его, подготовлено было анатомо-физиологическое наследие в виде тонко организованного слухового аппарата¹ с его слуходвигательными прирожденными и поведенчески-воспитываемыми комплексами, с его звукообразовательным сигнализмом и символизмом в приспособленческой стадно-стадной жизни животных и т. под. На этом животном базисе в мозгу очеловечивающейся обезьяны, в связи с процессами выработки обобществленных форм трудовой жизни, создались сложнейшие надстроечные анатомо-физиологические структуры, работой которых осуществляется взаимодейственная увязка каждого члена производственно-трудового коллектива со всеми социально-значущими моментами нарождающейся и развивающейся материальной культуры. С особой наглядностью выступает это в звукопроизносительно-речевых коммуникациях, как в одном из существеннейших моментов организации социальной жизни всякого человеческого коллектива и отдельного члена его.

Но должно вообще сказать о значении слуха в обобщественно-трудовой жизни коллектива, что наша культура всеобъемлюще пропитана во всех своих компонентах звуковыми комплексами большой социальной значимости: при всякой работе большое регулирующее значение имеют звуки трудового процесса — стуки молотов, ритмы машин, системы звуковых сигнализаций и т. п. Кто потерял слуховой рабочий аппарат, которым его организм включается в эту звуко-оформляемую культурную жизнь, тот оказывается поставленным вне обычных, данных в организации всякого коллектива, путей к воспитанию социально-полноценной личности.

Главнейшим социально-тяжким симптомом врожденной или приобретенной с раннего детства глухоты является немота, т. е. отсутствие у больного слухо-произносительных словесных взаимодействий с тем. производственно-трудовым языковым коллективом, в котором он живет. Глухонемой потерял воспитательное воздействие системы словесно-речевых коммуникаций своего коллектива: он видит внешние, доступные зрительному рецензированию, формы динамического развития культурной жизни, но не слышит звуковых,

¹ Термином — аппарат принято обозначать не только периферические органы, например, слуха, зрения, тактильной чувствительности, звукообразования, артикуляции и т. п., но и соответствующие, связанные с ними, координационные структуры нейронов в центральной нервной системе.

звукопроизносительно-речевых, музыкальных, певческих и т. п. компонентов ее. Самое главное — он лишен возможности быстро усваивать ту живую книгу социального опыта прошлых поколений, которую является передаваемое из поколения в поколение языковое наследие живой и письменной речи с ее многообразным семантическим содержанием в фразеологических, словарных и т. п. комплексах.

Далее, по отношению к коллективу нормально-слышащих у глухонемого остаются, как главный путь, связи зрительно-коммуникационные, которые, правда, включены и в социально-полноценную звукопроизносительную речь нормально-слышащих, но только в виде ее мимико-жестикulyторных компонентов. Уклад социальной жизни глухонемого в коллективе людей, пользующихся слухопроизносительной речью и не воспитавших у себя навыков специальной кинетической речи, заставляет глухонемого делать много усилий, чтобы создавать для общения со здоровыми людьми кинетический сигнальный символизм, близкий к естественным социально-бытовым жестам и мимике. Конечно, в самих коллективах глухонемых этот кинетический комплекс становится чрезвычайно специализированным и условным, узко-групповым кинетико-лицевым и, главным образом, ручным сигнальным символизмом, о чем будем говорить в дальнейшем более подробно.

Наконец, глухонемой, потерявший возможность воспитывать в своей личной жизни словесно-речевое оформление поведенческого опыта, тем самым лишился словесно-речевой аналитико-синтетической работы своего мозга, не лишнего, конечно, в своей анатомической структуре наследственно приуроченных аппаратов речевой коммуникации. Являясь работой особого качества, она богато организована в системах так называемых нервно-физиологических аппаратов речи в левом полушарии головного мозга, не имеющих в мозгу животных. Комплексы словесно-речевого поведения до такой степени пропитывают жизнь каждого нормально-слышащего человека, что у него без этого оречевления работа мозга деградирует: включение в жизнь человека системы речевых сигналов и символов, как новое, чуткое к приказам среды «бытие», делает работу мозга более значащей для приспособительных и взаимодейственных соотношений со средой. Жизнь человека без языка, каковым является глухонемой, не может не быть социально-инвалидной; однако же, при соответствующем воспитании общего, а самое главное — речевого поведения глухонемые достигают высокого культурного развития, т. е. полноценного развития так называемой психической деятельности. Многие языковеды считают, что так называемое «мышление» невозможно без речи, что «мыслить» — значит говорить. С таким утверждением

трудно целиком согласиться: конечно, речевые комплексы должно называть комплексами большой социальной значимости, глубоко пропитывающими жизнь человека, но характернейшей особенностью мозга человека среди мозгов высокоорганизованных животных является, прежде всего, функционирование человеческого мозга в качестве аппарата производственно-трудовой жизни, не всегда требующей оречевления. Глухонемой не только не имеет словесно-речевых рефлексов, но и в слуходвигательных структурах своего мозга потерпел, вследствие отсутствия соответствующих возможностей рецептировать звуковые раздражения, более или менее выраженные нервно-физиологические деградации. Для развития связанных со слухом прирожденных и поведенческих комплексов жизни ребенка необходима работа слухового органа, а у глухого этот орган исключен из воспитывающего рецептирования раздражителей физической и социальной среды. В результате этого все связанные с органом слуха нейронные мозговые структуры для соответствующего, более широко охватывающего жизнь, анализа и синтеза развились не так, как это наблюдается у нормально-слышающего. Высказанное Ф. Энгельсом утверждение, что речь во всех своих проявлениях имеет социальное происхождение и динамическую сущность, тесно увязываемую с производственно-трудовыми процессами, особенно важно при изучении речевых явлений, путем сравнения речи нормально-слышающих с кинетическим сигнальным символизмом глухонемых. Нужно исследовать речевое бытие не только во всей его целостности в настоящем, но и в процессах его генезиса, развития, движения, многообразных деградаций и т. д. Изучение патологических явлений речи невозможно без изучения нормальной речи, а изучение и того и другого должно производиться в аспекте генетического подхода к ним. Обобществленно-трудовой коллектив создает типизированные комплексы словесно-звуковых и семантических коммуникаций, по которым воспитывает речь каждого своего члена. В речевой жизни каждого говорящего эта типизация сплошь и рядом подвергается изменению в зависимости от состояния его речевых аппаратов, условий говорения, социального опыта личности и т. п. Нужно отметить здесь, что для развития учения о речи человека чрезвычайно много дали исследования речевых явлений при поражениях болезнью речевых аппаратов. Важнейшие главы физиологии речи — в смысле фактического материала — были написаны теми исследователями, которые занимались патофизиологией речи, где демонстративно выявлялась та или иная функция речевого аппарата, благодаря выключению тех или иных частей его из речевой жизни говорящего при данном болезненном процессе. С одной стороны, для логотерапии, как системы воспитания нормальной речи,

у людей с логопатиями, чрезвычайно важен метод научно-исследовательской и практической проработки данного патофизиологического комплекса речи с непременным учетом основных принципов речевой функции, как нормального социально-физиологического процесса. С другой стороны, и сама логоterapia дает много научного материала для учения о принципах работы мозга, выявляемых при воспитании речевых рефлексов. Физиология и патофизиология речи и логоterapia так тесно взаимодейственно увязаны, что изучение одного является необходимейшим компонентом при изучении другого. А все это необходимо для создания того законченного языковедного мировоззрения, которое так важно и для теоретика, и для практика в вопросах языковой жизни человека.

В дальнейшем изложении мы остановимся несколько подробнее на вопросе о том, что представляет собою человеческая речь по своему происхождению и динамике в жизни коллектива и отдельного человека.

II

Физиология речи, как она сконструировалась в процессе своего научного оформления, представляет, по существу, дисциплину не биологическую, а социобиогенетическую с особым эволюционным филогенезом того «бытия», которое она исследует и которое имеет свою особую качественность. Речь — функция не животного-физиологического типа, не из комплексов жизни стада животных, хотя бы и высших, а социально-физиологическая, вызванная запросами социальной жизни человеческого, с общественно-организованным трудом, коллектива на словесно-звуковую коммуникацию.

Уже много лет тому назад акад. Н. Я. Марр начал создавать учение о речи как о явлении социальном во всех своих проявлениях, и наша дисциплина — физиология речи — ищет генетических корней и динамической сущности речи именно в этом социальном базисе ее, в заказах производственно-трудовой жизни на речевую коммуникацию, в противоположность психологам, которые в речи видят явления особого характера — индивидуально-психологического, иногда — психо-физиологического. Особенности социальной жизни человека, резко отличающие ее от стадно-стайной жизни животных, выработали в мозгу человека целую серию таких аппаратов, которые получили и получают от структур социальной жизни заказ функционировать в том или ином оформлении данного социально-значущего содержания. Для пользования орудиями производства, предметами производства, для участия в динамике надстроечной жизни, для пользования словесно-звуковой речью, как необходимым компонентом всякого обобществленного труда и т. п., для

всего этого должны были произойти огромные изменения в анатомо-физиологических структурах мозга питекантропа, превращающегося в человека. Там, в многомиллионной дали прошлого в ледниковые периоды стадо обезьян, лишенное возможности приспособляться к природным условиям, принуждено было создать орудия производства, с соответствующими производственными взаимоотношениями, т. е. сделало небывалый дотол в эволюционно-филогенетическом развитии мира скачок из стадно-приспособленческой жизни в социальную жизнь с обобществленным трудом, изменяющим природой данные условия существования и создающим взаимодействующие соотношения в работающем коллективе.

Наглядная анатомо-физиологическая картина этого скачка выявляется, когда мы сравниваем мозг человека с мозгом самых высокостоящих обезьян. Ни у одной обезьяны нет тех асимметрических, в одном левом полушарии мозга находящихся, аппаратов, которые имеются у человека, нет добавочных извилин и борозд в теменной и височной долях мозговых полушарий, особенно, важной третьей лобной извилины, и тому подобных нервно-физиологических аппаратов производственно-трудовой и речевой жизни. Далее, по количеству нейронов — этих основных рабочих элементов нервной ткани — мозг человека превышает мозг самых высоко организованных обезьян приблизительно на девять миллиардов нейронов. При этом и сама архитектура нейрона человека в его дендритических и аксонных разветвлениях, нейрофибриллярных сетях и т. д. делает его рабочей единицей с большими нервно-физиологическими возможностями, нежели это дано в элементах нервной системы обезьян. Словом, количественные рабочие возможности человеческого мозга настолько превосходят количественные возможности мозга обезьяны, насколько социальная жизнь человека превосходит жизнь стада обезьян по своей качественной структуре.

Существует мнение, что будто бы у человека, — для нас особенно важно в этом отношении утверждение о речи человека — есть что-то специально физиологическое, или биологическое и исключительно социальное. Такие исследователи делают разрыв между базисом и надстройками; социально-человеческое в его мозговых аппаратах надстроилось над стадно-животным анатомо-физиологическим наследием, и в процессе развития и укрепления социальных комплексов в жизни человеческих коллективов все подчинило этой новообразованной социальной основе. Надстроечная нервно-физиологическая структура в процессе своего организационного развития изменила структуру базиса; это необходимое явление в диалектике всех процессов развития всякого бытия. Указанные выше исследователи гово-

рят, что будто бы движения гортани, языка, губ и т. д., участвующие в процессах человеческой речи, биологичны, а звукоречевая система социальна, т. е. они делают тот прорыв в динамике человеческой жизни, ту неувязку всего со всем, которые так резко противоречат основным научно-исследовательским требованиям диалектико-материалистической методологии. Физиология речи настойчиво говорит, что нельзя допускать прорыва между структурой социальной среды человека и самим человеком, особенно — его мозгом, созданным в процессе социобиогенеза по заказам этой самой среды, и обнаруживающим это воздействие в своем анатомическом строении и в своих нервно-физиологических функциях, проявляющих всегда взаимодействующую увязку с социальной средой.

Все так называемые физиологические функции мозга человека (включая сюда и инстинктивные реакции) являются по существу комплексами социального генезиса, четко выявляющими свою неотвратимую приуроченность к целостному превращению в осоциализированные функции мозга в процессах существования человека в коллективе; это нужно помнить во всех исследовательских подходах к человеку, к изучению его прирожденных реакций и поведенческих. И анатомические аппараты человеческого организма и физиологические функции их в своих структурах несут воздействие того момента, что человек есть животное, создавшее орудия производства и живущее под детерминирующим давлением производственно-трудовых взаимоотношений. Следовательно, и в явлениях словесно-речевой жизни мы должны искать аналитико-синтетическую работу не просто физиологического характера, а особой социально-физиологической структурности, с особыми социально-физиологическими принципами работы мозга.

Утверждая это, мы не отрицаем, что у человека имеется комплекс явлений, определяемых термином «психические»; отрицать их — значит оспаривать явную очевидность. Но особая «психическая» качественность их подлежит тщательнейшему научно-исследовательскому анализу. Наши исследования того «психического», что находят языковеды в речи, показали наличие в центральной нервной системе человека особых очень сложных аппаратов, возникших в процессе очеловечения обезьяны и функционирующих в ответ на воздействие специальных, адекватных социально-средовых раздражителей. Эти аппараты находятся в такой тесной взаимодействующей увязке с социальным генезисом и динамикой всех форм жизни человека, что их можно и должно определять термином «социально-физиологические» как термином, исчерпывающе характеризующим их генезис и значимость в жизни человека, как члена обобществленно-трудового коллектива.

Психологи, стремящиеся стать на материалистическую точку зрения, говорят, что они признают социальную основу жизни человека и пытаются определить предмет своего изучения, как социальную психологию, противопоставляя ее индивидуальной, причем признают значимость мозга, как аппарата мышления. Но тогда у них получается четыре основных действенных фактора в жизни каждого человека — индивидуальный, социальный, психический и нервно-физиологический. Существование двух начал, взаимодействительно увязанных, — социального и физиологического — выяснено изучением происхождения и анатомо-физиологического строения организма человека, как члена обобществленно-трудового коллектива. Но подходя к выяснению того, что называется психическим началом жизни человека, мы упираемся в методологически необосновываемые гипотезы об уме, чувстве, воле и т. д., для которых нет соответствующих аппаратов в нейронных структурах мозга; в то время как для функций социально-обусловленных — имеются определенные аппараты, работающие по особым принципам — анализа, синтеза, социальной типизации комплексов поведения, их изменчивости, обусловливаемой раздражителями момента действия и т. д., о чем более детально выскажемся в ближайших работах.

Название психических категорий «качеством высоко-организованной материи» требует соответствующих разъяснений, если считать необходимым учитывать современное учение физиологов-материалистов о мозге человека. Основным качеством человеческого мозга, как самой высокоорганизованной материи, является социальная опосредствованность всех его функций. Это сказывается не только в той роли, которая ему принадлежит в комплексах социальной жизни, но и в самом происхождении структур мозга человека, как надстройки над мозгом человекообразных обезьян, вынужденных в ледниковые периоды создать орудия производства и установить производственные отношения.

Что касается проблем «индивидуальной психологии», то нужно помнить, что так называемое индивидуальное, по своему генезису и динамической сущности, является социальным, преломляемым и хранимым в структурных отпечатках мозга в той или иной форме в зависимости от средовых раздражителей. Ядро личности всякого человека, представляя собою комплекс, сложившийся под воздействием социального прошлого, в каждый момент жизни увязывает это прошлое с действительным настоящим, поэтому нужно признавать, что личность человека, по существу, представляет социальный комплекс во всех своих поведенческих проявлениях, и исследование индивидуального должно производиться в аспекте его социального генезиса и сущности.

Для обобщественно-трудовой жизни коллектив людей должен вырабатывать систему сигналов и символов, среди которых речи приурочено самое видное место. Уже в поведении животных стад и стай мы находим систему сигнально-символических рефлексов, воспитываемых в процессах приспособления животных к жизни в данных природных и стадно-стайных условиях. Но эти сигнально-символические рефлексy животной жизни являются только гомологами того, во что превращаются сигнально-символические комплексы во взаимодейственных соотношениях членов трудового коллектива людей.

Человек, как член коллектива, вернее, как живая рабочая сила в обобщественно-производственных процессах, не может применять орудия производства, коллективно пользоваться средствами производства, не может создавать производственные взаимоотношения, экономические, политические и вообще надстроечные структуры в своей социальной жизни без применения соответствующей системы социально-типизированных сигналов и символов. Всё социально-значущее в жизни коллектива людей и каждого из его членов проходит стадию оречевления в словесно-звуковых, типизированных формах. Этим облегчается динамика социальной жизни и так закрепляются достижения материальной культуры, что легко передаются из поколения в поколение, как научно-практический опыт.

В анатомо-физиологических аппаратах нашего мозга, в структурно-отпечатанном виде хранится система многообразных типизированных сигналов и символов общего и речевого поведения, создаваемых в процессе социальной жизни каждого члена коллектива и непрерывно видоизменяющихся по заказам той среды, в которой они применяются. Физиология речи, исследуя речь на живом человеке в каждый момент его говорения, определяет принципы работы центральной нервной системы в звукопроизводительной сигнально-символической коммуникации, всецело ориентируясь на указываемый нами целостно-социальный базис человеческой речи. При таком построении исследовательской работы физиология речи превращается в физиологию социальную, исследующую социально-физиологические комплексы жизни человека как члена рабочего коллектива. Такой подход рисуется нам подходом, учитывающим все главные моменты «речевого бытия», причем без разрыва между человеком, как анатомо-физиологическим организмом, и производственно-трудовой жизнью коллектива, с его материальной культурой.

Каждый коллектив, в соответствии с заказами со стороны производственно-трудового процесса на коммуникационные средства, вырабатывает

систему звуко-мимико-жестикulatoryных сигналов и символов, составляющих языковую систему данного коллектива. В этой системе есть и известный словарь, и известные категории полисемантизма слов, и типизации фразеологического оформления содержания, грамматико-синтаксических структур и т. п. Понятно, что всякая речевая система, как компонент производственно-трудовой жизни коллектива, должна быть такова в своем стадильном развитии, какова соответствующая стадильная структура этой производственно-трудовой жизни. Различают первобытную экскляматорно-кинетиическую речь, систему аморфной речи, агглютинативной, флективной и т. п.; причем эти системы непрерывно видоизменяются в зависимости от изменения производственно-трудовой жизни, от смешения с речевыми системами предшествующих формаций вплоть до пережитков первобытной речи, а также с системами других производственно-трудовых коллективов.

Вся система словесно-речевых сигнализаций и символизаций является хранилищем опыта, знаний, вообще — самых разнообразных достижений человеческой культуры в форме подвижных, легко применяемых в своей звуко-произносительности и символичности словесно-звуковых комплексов. Слова речи всегда более или менее полисемантичны, причем они в процессе своего коммуникационного существования и применения в коллективе в различных структурах социальной жизни, так сказать, наполняют свой первоначальный семантизм такими социально-значущими элементами содержания, что семантика всякого слова является в высокой степени полиморфной. Различные группы производственно-трудовых коллективов, пользуясь сравнительно небольшим лексиконом в своих речевых структурах, наследственно передаваемых из поколения в поколение, фиксируют, сохраняют и устанавливают передачу как современникам, так и будущим поколениям всей суммы своих научных и практических знаний.

Исследование нервно-физиологической работы центральной нервной системы на речевом индикаторе выявляет каждый речевой рефлекс, как сложный рефлекторный комплекс, генетически и динамически связанный со всей системой речи. А эта система по существу является сложно-организованной, динамически подвижной, постоянно эволюционирующей системой звуко-мимико-жестикulatoryных сигналов и символов. Причем повторяю, вся эта система отвечает запросам на сигнализм и символизм со стороны обобществленно-производственной жизни коллектива. Не надо думать, что звуковой, мимический, жестикulatoryный и семантический компоненты социально-полноценной речи просто складываются друг с другом в общую

сумму в комплексах речевой выразительности. Компоненты этой квадриады находятся во взаимодейственном соотношении друг с другом: они увязаны в один обобщенный комплекс. При так называемых «эмоционально-окрашенных» формах звукопроизносительно-речевой коммуникации особенно демонстративно выявляется детерминизированность и мимико-жестикulatorных компонентов ее, как это много раз подтверждалось соответствующими экспериментами в наших лабораториях физиологии речи.

Неотвратимость такой увязки звука, мимики, жеста и их семантики в один словесно-речевой комплекс, взаимодейственный во всех своих компонентах, наглядно выявляется при исследовании анатомического строения аппаратов этих функций в центральной нервной системе. Эволюционно-филогенетическое развитие этой системы в ряде позвоночных животных построено по принципу нейробиотаксиса (Ariëns Kappers). Сущность нейробиотаксического процесса состоит в том, что орган тела данного животного, видоизменяющийся для новой работы в организмах животных, вышестоящих в эволюционно-филогенетическом ряду, локализует новые нервно-физиологические координационные аппараты для новых нарождающихся функций в той же мозговой топографической области, где локализуются гомологичные аппараты у эволюционно нижестоящих животных. В результате развития всякого эволюционно-филогенетически нового координационного аппарата создается то, что органы тела, осуществляющие синергическую работу, имеют соответствующие координационные аппараты, анатомо-физиологически локализованные и нервно-физиологически связанные в тесно организованную друг с другом структуру. Гистологически это выявляется следующим образом в архитектонике таких координационных аппаратов: они множественны по количеству нейронных связей между нейробиотаксически развивающимися координационными аппаратами и многосторонни по взаимопереплетенности в них ассоциативных волокон. Это особенно богато организовано в структуре тех корковых отделов головного мозга, которые являются аппаратами звукопроизносительных и мимико-жестикulatorных комплексов речи.

Если мы с таким сравнительно-анатомическим и сравнительно физиологическим анализом подойдем к исследованию словесно-речевой коммуникации, то увидим, что аппараты звукопроизносительной речи потому то и образовались в левом полушарии, в непосредственном анатомическом и, следовательно, нервно-физиологическом соседстве и в нейронной широчайшей увязке с координационными аппаратами мимических и жестикulatorных движений, что в этом сказалось влияние нейробиотаксического принципа

эволюционно-филогенетического развития нашего мозга. Речь появилась в процессе применения питекантропом орудий производства, для работы которыми строение его тела предопределяло правую руку. При активной работе левой рукой быстро и сильно истомлялось бы и изнашивалось сердце, тесно нервно-физиологически связанное в одно с аппаратами этой левой руки; следовательно, должна была образоваться рабочая нагрузка на несвязанную с сердцем правую руку. Поэтому-то координационные аппараты звукопроизносительно-речевых движений и образовались у очеловечивающихся обезьян в левом полушарии в задних отделах новообразующейся третьей лобной извилины, по соседству с координационными аппаратами мимики и руки.

Далее — поскольку кинетико-лицевые и ручные рабочие позы производственно-трудовой жизни были использованы для речевой коммуникации в первобытной речи, постольку они оказались в многообразной взаимодейственной ассоциационной связи в указанных координационных аппаратах мимико-артикуляторных органов речи и органов жестикуляторных движений рукой.

Нужно иметь в виду, что хотя аппараты мимики и жеста двусторонне-симметричны в коре мозговых полушарий, но все же объединенные с речью мимико-жестикуляторные комплексы имеют известную преимущественную локализацию в левом полушарии мозга. Такая глоттогонически-образовавшаяся структурно-анатомическая увязка делает всегда активизированной и динамику нервно-физиологической увязки: звук, мимика, жест и семантика в процессе говорения каждого человека так взаимодейственно связаны, что оказываются в так или иначе пропорционально-типизированных соотношениях в речи данного говорящего, при данных условиях говорения. Выявляемый в процессе говорения, по заказу данной речевой коммуникации, семантически-широкий и богатый мимико-жестикуляторный комплекс помогает выявлению и социально-полноценного, по семантической значимости, словесно-звукового комплекса. А если коммуникационно-речевые соотношения между говорящими допускают ограничение количества словесно-звуковых компонентов речи, то жест достаточно полноценно может замещать произнесенные слова. В таких случаях не только не получается особого вреда для словесно-речевого общения, но даже и к пользе его, к коммуникационному оживлению речевого взаимодействия говорящих. В таких случаях затормаживание звукопроизносительных рефлексов всю силу речевой выразительности переключает на пути мимико-жестикуляторных комплексов.

Суммируя сделанные нами, в излагаемом учении о речи, высказывания об эволюционном филогенезе речевых аппаратов, о социальном базисе и динамическом развитии речи в зависимости от эволюции производственно-трудовой жизни рабочего коллектива, мы должны прежде всего указать, что всякий организм находится в рефлекторных соотношениях с окружающей его средой; причем эти соотношения приспособительны у животных и взаимодейственны у человека. В процессе организации таких соотношений со средой в организме выработалась специальная нервная система, особенно чутко улавливающая всякие раздражители, подвергаящая их аналитико-синтетической переработке для соответствующих ответных на среду реакций. Приспособительный характер ответных реакций у животных создал в жизни их коллективов однотипный, неизменчивый, родовой, звукообразовательный сигнализм и символизм, гомологичный звукопроизносительной человеческой речи. Взаимодейственные соотношения со средой в человеческом коллективе создали специализированную слухопроизносительную речь, вечно видоизменяющуюся в зависимости от изменений той общественно-трудовой жизни, которая делает все новые и новые заказы на речевые сигнально-символические коммуникационные комплексы.

В краткой схеме это речевое взаимодействие можно формулировать в следующих положениях:

во-первых, в каждом человеческом коллективе есть система словесно-речевых коммуникаций в виде квадриады — звук — мимика — жест — семантика, создавшейся в процессе производственно-трудовых соотношений в коллективе и воспитываемой, как необходимый компонент в производственно-трудовой жизни каждого члена коллектива;

во-вторых, необходимым моментом взаимодейственности является то, что речь представляет собою функцию специальных, созданных в социобиогенетическом процессе очеловечения питекантропа, анатомио-физиологических аппаратов, в центральной нервной системе для которых, понятно, специализированным адекватным раздражителем является указанная система словесно-речевых комплексов данного коллектива;

в-третьих, взаимодейственность базируется на том, что речь детерминирована в жизни всего коллектива и каждого члена коллектива, как социально-значущее явление, в котором происходит применение, воспитанной прошлым опытом и хранящейся в структурных отпечатках в мозгу каждого члена речевого коллектива, системы словесно-речевых коммуникаций говорящего к заказам на коммуникационные взаимодействия, создаваемые производственно-трудовыми соотношениями данного момента.

В так построенной схеме учения о речи мы видим увязанными в один взаимодейственный комплекс и систему речи коллектива, и говорящего человека, и производственно-трудовой базис их жизни, и прошлое, и настоящее в речевой системе коллектива, и в говорении каждого члена его и т. п.

Учитывая все вышеизложенные соображения о характерных признаках человеческой речи, остановимся на особенностях общего и речевого поведения глухонемых.

III

Прежде всего нужно отметить, что раздражения слухового аппарата являются большим активизатором для движений нашего тела еще во внутриутробной жизни. Я производил в ЛИФЛИ наблюдения вместе со своей сотрудницей Е. И. Устиновой над женщинами-заиками в период 4—5-месячной их беременности, применяя раздражения звуками рояля различной силы, тональности, ритмики и т. п. Конечно в этом случае, как это обычно констатируется при экспериментах на звуковые раздражения, приходится признавать, что организм рецептировал не дифференцированные только слуховые раздражения, а комплекс звуко-вибрационных раздражений. Всякий достаточно громкий звук вызывает более или менее выраженные вибраторные дрожания в окружающих организм предметах и в костно-хрящевомышечных органах самого тела — костях черепа, лица, хрящах носовой полости, ушной раковины и т. под. Все же ведущую роль у нормально-слышащих приходится признать за слуховыми раздражениями. Эксперименты показали, что на низкие тона внутриутробный ребенок дает более резкую и длительную двигательную реакцию, нежели на высокие. Особенно энергичны и продолжительны были реакции, если звуковые раздражения производились аккордом из 3—4 диссонирующих тонов в низком регистре. В таких случаях получалось резкое, толчкообразное двигательное возбуждение ребенка в материнской утробе.

Далее — в жизни ребенка с первых дней по рождении и в жизни взрослого слуходвигательные рефлекторные комплексы играют огромную роль, как воспитатели моторики. Чувствительные пути слухового нерва в центральной нервной системе так переплетены и в подкорковых областях, и в коре головного мозга с нисходящими двигательными путями, что наш организм вечно реагирует на слуховые раздражения, как на раздражения, вызывающие комплексы более или менее сложных движений в организме слышащего; причем эти движения выявляются и как прирожденные и как поведенческие — воспитываемые по приказам социальной среды.

Анатомо-физиологические слуходвигательные связи, данные в структурном строении центральной нервной системы всякого человеческого организма, исключаются из функционирования у глухого. Отсюда понятно, что прирожденные, вызываемые слуховыми раздражениями, и поведенческие, связанные с такими же звукосредовыми раздражениями, комплексы движений деградировали у глухого от рождения. Глухонемые являются слуходвигательно, но не зрительно-двигательно отсталыми, о чем речь будет дальше; все звуковые явления окружающего мира не вызывают у них той ориентировочно-двигательной, исследовательской и вообще ответной рефлекторной реакции, которою создается поведенчество всякого человека на массу звуковых раздражителей из комплексов физической и социальной жизни и т. п. Особенно выражена у них двигательная отсталость в области звукоартикуляторных аппаратов. Самое важное — не устанавливается увязка с той словесно-речевой системой, которая является необходимым компонентом жизни всякого человеческого коллектива с обобщественными трудовыми процессами. Окружающий мир не звучит для тотального акумата, не слышит он речи окружающих, не слышит и тех своих звукообразований, которые происходят при выдыхательных движениях с напряжениями голосовых связок и т. п. Доступными их рецептированию из звуковибраторного комплекса остаются лишь вибрационные компоненты слуховых раздражений.

Словом, наш мозг можно назвать аппаратом, который создан в процессе социо-био-генеза, как аппарат, улавливающий все звуковые раздражения, исходящие и из окружающей среды, и из собственного тела для воспитания на них тех систем сигналов и символов, без которых невозможна социально-полноценная производственно-трудовая жизнь. Отсюда понятно, как важно у глухонемых с отсталостью в сфере моторики воспитывать богатство, разнообразие и ритмику движений какими бы то ни было приемами: делая, например, заказы посредством зрительно-воспринимаемых движений диктующей ритм руки воспитателя, или пользуясь световыми сигналами, или заказывая ритмы звуками рояля, используя обостренную у тотальных глухонемых вибрационную чувствительность и т. д.

Останавливаясь подробнее на значении вибрационной чувствительности у нормально-слышающих и у глухонемых, мы видим, что организм наш, особенно — его центральная нервная система, в процессе эволюционно-филогенетического развития создавалась так, что аппараты новой формации, как мы уже говорили выше, у нового высшего вида животных надстраивались над аппаратами нижележащих видов животных, причем образы-

вались взаимодейственно связанные анатомо-физиологические координационные структуры. И вот, когда в процессе болезненного поражения мозга разрушается нервно-физиологическая функция высшей животной формации, начинает викарно функционировать, при соответствующих раздражениях, аппарат низшей эволюционно-филогенетической формации. Обращаясь к глухонемому с его разрушенным периферическим органом слуха, мы должны найти и находим викарную работу тех нервно-физиологических аппаратов вибрационной чувствительности, которые в эволюционно-филогенетическом прошлом (в период развития позвоночных в воде) являлись в сущности аппаратами, рецептирующими вибрационные раздражения, распространяющиеся в водной среде.

Исследования проф. Комендантова, д-ра Могильницкого и д-ра Шкловского в лаборатории Областного Института глухонемых в Ленинграде установили интересный факт: чем больше пострадал периферический слуховой аппарат, тем больше обостряется вибрационная чувствительность таких глухих. Объяснение этого явления должно видеть в том, что на авансцену нервно-физиологических соотношений организма со средой выступает викарирующая работа филогенетически-древнего рефлекторного аппарата.

Следовательно, у глухонемого в его рецептировании окружающего мира начинает нести большую работу вибрационно-анализаторный аппарат. Так как в твердых телах непременным компонентом звучания является более или менее выраженное вибрирование, то получается следующее: что окружающие, одаренные слухом люди, воспринимают как звучание, это самое тотальные глухонемые тоже рецептируют, как раздражитель, но не слухо-анализаторным аппаратом, у них разрушенным, а вибрационно-анализаторным, у них высоко гиперестезированным в его периферических нейронных приборах, а также викарно-развившимся и в координационных аппаратах центральной нервной системы. Получается аналитико-синтетическая работа мозга, организовывающаяся на базисе вибрационных раздражений, облегчающая возможности взаимодейственных связей глухонемого с окружающим вибрационно-звучающим миром. Но, конечно, эти связи, достаточно удовлетворяющие запросам приспособительной жизни низших животных, не могут служить адекватными рецепторами и аппаратами аналитико-синтетической проработки заданий высоко-организованной производственно-трудовой жизни человеческого коллектива. Поэтому-то сигнализм и символизм вибраторно-двигательной аналитико-синтетической работы может быть только расплывчато-диффузным и социально мало значущим для коммуникаций в человеческом коллективе.

Другим весьма важным аппаратом, викарно помогающим взаимодейственной связи глухонемого со средой, является зрительный аппарат.

Наблюдения мои и моих сотрудников — Ю. А. Коноваловой, Е. И. Устиновой, Н. В. Пясецкой в Железнодорожной школе-интернате для глухонемых в Ленинграде показывают, что глухонемые дети быстрее, нежели дети нормальные, воспитывают у себя зрительно-задаваемые и под зрительным контролем происходящие дифференцированные движения в мышцах туловища, конечностей, в лицевых мышцах и т. п. При воспитании лексической и графической речи они сравнительно скоро усваивают технику чтения и письма. И вот, имея в виду указанную нами выше слуходвигательную отсталость глухонемого, нужно широко использовать облегченную возможность воспитания у него разнообразных, дифференцированных, специализированно-единичных и сложных движений с различным ритмом, моторным узором, акцентами и т. д. на зрительно-анализаторной проработке их. Такое воспитание массы дифференцированной и ритмически сложной моторики образует в центральной нервной системе глухонемого тот структурно-работающий нервно-физиологический базис, пользуясь которым удастся скорее и точнее выработать, на зрительно-подражательной работе, соответствующие мимико-артикулярные и жестикуляторные установки, как элементы воспитываемой звуковой речи.

Эта же особенность нервно-физиологической работы мозга глухонемого, вызванная исключением слухового анализатора, неотвратимо приводит к тому, что типизация социальнозначущих моментов жизни глухонемых происходит в зрительно-кинетических сигнально-символических оформлениях. Оформление коммуникационных взаимоотношений у них осуществляется работой дистанс-цепторного зрительного анализатора, характерным свойством которого, как и слухового анализатора, является способность к тонким дифференцировкам в ответах на раздражители среды. Это мы и видим в системах зрительно-кинетического лицевого и ручного сигнального символизма в коллективах глухонемых. Тактильно-вибрационная же анализаторная работа, как филогенетически более древний компонент слуховибрационных комплексов, может давать только более диффузные аналитико-синтетические проработки раздражений.

Далее, в самом процессе коммуникации с окружающими слухопроизводитительно-говорящими людьми, тотальный глухонемой рецентирует только мимико-жестикуляторные компоненты их речи. Но свою дифференцированную значимость эти мимико-жестикуляторные компоненты социально полноценной речи получают в увязке с звуковыми комплексами. Только в первобыт-

ной речи мимико-жестикulyторные элементы, во взаимноувязанной слитности с эксклямациями, могли быть коммуникационными средствами, в известной мере, достаточными для социальной увязки членов первобытного рабочего коллектива, для удовлетворения заказов на словесно-речевое общение в примитивной жизни охотничьей орды. Современная же жизнь, окружающая ребенка, до такой степени в производственно-трудовом отношении сложна и в то же время дифференцирована, что только звуковое оречевление создает с мимико-жестикulyторными компонентами речи социально-полноценную законченную значимость речи, как средства коммуникации. Тотальные глухонемые, видимо, навсегда лишены возможности рецептировать звукопроизносительную речь во всей той ее социальной полноценности, как это легко удастся слышащему. Ведь самая главная социальная сила нашей слухо-произносительной речи заключается в эластичной полисемантической всех ее словесно-речевых комплексов. Такой полисемантизм детерминизирован заказами на оречевление в сравнительно небольшом количестве звукопроизносительных комплексов бесконечного разнообразия производственно-трудовой жизни коллектива.

Я уже говорил выше, что каждая смена нарождающихся поколений человеческого коллектива воспринимает культурное наследие прошлого в оречевленной форме, причем оречевленной в слухопроизносительных комплексах, а не в мимико-жестикulyторных; хотя, конечно, никогда не надо забывать при исследовании речи о мимико-жестикulyторных компонентах звукопроизносительно-речевого сигнализма и символизма. Этот типизированный речевой сигнализм и символизм вечно эволюционирует, видоизменяется в процессе своего осуществления в речевом общении данного момента социальной жизни каждого члена коллектива. Будучи более или менее стойко типизированной по форме и содержанию в языковых системах, речь также изменчива в звукопроизношении и семантике у каждого человека в отдельные моменты жизни, как изменчива динамика той социальной среды, которая делает заказы на речевую коммуникацию. По этому-то, глухонемому, лишенному социально-полноценного речевого общения, так трудно избавиться от своей словесно-речевой инвалидности, хотя бы он и научился чтению с лица, приобрел известный словарный запас и навыки звукопроизносительной коммуникации.

Остановимся еще на одном научно-многозначительном явлении мимико-жестикulyторной жизни, наблюдаемой при развитии коммуникационных взаимоотношений в коллективе глухонемых. Мы у них видим, что та система сигналов и символов, которая социально-детерминизирована в речевой жизни

каждого человеческого коллектива, у глухонемых становится системой специализированных кинетико-лицевых и кинетико-ручных сигналов и символов. В создании таких систем кинетической коммуникации разные коллективы глухонемых проявляют большею частью настолько много своеобразных особенностей, что группа с одной кинетической системой не понимает, или, в лучшем случае, с трудом понимает другую группу. Известную помощь в коммуникации глухонемых друг с другом оказывает то, что специализированный кинетический сигнализм в коллективе глухонемых перетасован с мимико-жестикulatorными компонентами социально-полноценной речи — естественными интернациональными жестами, понятными для всех людей.

Факты множественности кинетических систем групповых коммуникаций глухонемых можно бросить на чашку весов гипотезы, развиваемой школою академика Н. Я. Марра, о множественности праязыков, а не об одном первобытном праязыке. Дело в том, что гипотеза о первобытном языке, как экскляматорно-кинетическом, утверждает большее превалирование социальной значимости кинетических компонентов сигнализма и символизма в этих экскляматорно-кинетических комплексах, чем компонентов звуковых. Никак нельзя допустить, что зрительно-воспринимаемая система кинетических сигналов и символов, а также и семантика их, могла быть однотипна, едина, а не множественна во всех первобытных охотничьих ордах, замкнутых в своей производственно-трудовой жизни. Эта система чрезвычайно специализирована в смысле вкладываемого в нее семантизма, в смысле возможности жесту стать сразу однотипно-закрепленным в организации социальной жизни многих первобытных коллективов. Поэтому-то нужно думать, что первобытная речевая система экскляматорно-кинетического, сигнально-символического семантизма была так полиморфна, как множественны были охотничьи становища на заре человеческой культуры.

Кроме того, за множественность первобытных систем языковой коммуникации у нормально слышащего прачеловека говорит еще и то, что анатомо-физиологическая структура тех нейронных аппаратов Wernicke-Broca-Lichtheim'a, которая создавалась в процессе социобиогенеза, могла, как всякая новая нейронная система нашего мозга, создавать только многообразную, диффузно-полиморфную систему сигналов и символов, а не дифференцированную единообразную в языковых коллективах с различной организацией производственно-трудовой жизни.

С другой стороны, наблюдения над речью коллектива глухонемых дают известное подтверждение того, что первобытная речь, как бы ни была

она богата кинетическими элементами, не могла не быть озвученной. «В генезисе речи играют большую роль те рабочие позы организма, которые, являясь жестами по самой сути своей нервно-мышечной координационной установки, включают в себя и звукообразование. Из этих звуков, координационно-выявляемых в комплексе общих движений тела, родились первые звуковые сигналы, как символы данной рабочей установки организма, имеющей социальную значимость для слушателя звукового сигнала». . . . «Работа и ее орган рука, вызвали к жизни речь. Производимая рукою работа была тем творческим базисом, на котором и в связи с которым развивалась звукопроизводительная речевая сигнализация». . . .¹

Обычная картина в жизни детского глухонемого коллектива характеризуется тем, что глухонемые во время своих игр, во время волнующих эмоционально окрашенных «кинетических разговоров» не могут не издавать эксклямаций, вообще, звуков своим рото-гортанным аппаратом. Отметим здесь, что сплошь и рядом эти звуки рецептируются нами, хорошо слышащими людьми, как человеческие звуки с известной диффузной семантической, однотипной с семантизмом тех мимико-жестикulyторных сигналов и символов, в которые они вплетены. Если это выявляется в жизни глухонемых, то еще больше экскламаторные компоненты даны были в первобытной речи зарождающего человеческого коллектива. Такая взаимопроникновенная объединенность дана и в той структурной увязанности анатомофизиологических аппаратов звуко-мимико-жестикulyторных языковых компонентов, о которой мы уже говорили раньше.

В заключение остановимся несколько подробнее на характерных особенностях зрительно-кинетических сигналов и символов, комплексами которых заполнена личность глухонемого в его коммуникационных связях с коллективом глухонемых.

Я делал наблюдения вместе со своими сотрудниками над кинетическим оформлением на сцене в Ленинградском Обществе глухонемых пьесы Гоголя — «Ревизор». Игра артистов на всем протяжении пьесы шла посредством системы кинетических сигналов символов; дактилология же применялась у них редко — лишь для обозначения имен, названий городов и т. п. Несмотря на то, что пьеса общеизвестна, трудно было осмыслить детали многих кинетико-пантомимических сцен. К первому же антракту мы все, привыкшие к слухопроизводительной речи, почувствовали общую нервную

¹ С. М. Доброгаев. Физиологический и социальный элементы в учении о речи человека. Труды Лаборатории физиологии речи, стр. 20—21. Л., 1929.

усталость, особенно — утомление зрения; хотелось, закрывши глаза, отдохнуть от мелькавших вокруг движений. Мы — люди, главным образом, со словесно-речевым, или, так сказать, со «слухопроизносительным мышлением» изнемогли от непривычной нагрузки на зрительное рецептирование всего происходящего, так что принуждены были уйти, не досмотрев пьесы до конца, тогда как масса публики, состоящей из глухонемых, представляла в антракте кинетически-оживленные группы деющих впечатлениями по поводу виденного. Мы должны были признать, что перед нами коллектив людей со специально развитым, так сказать, «зрительно-кинетическим мышлением», которое оформлялось всеми моторными средствами (конечно — исключая звуковые) разговаривающих людей.

Мы, привыкшие к пользованию социально-полноценной звукопроизводительной речью, помогали себе усваивать содержание «разговоров» этой объединенной кинетическим сигнализмом группы глухонемых, останавливая внимание на тех обычных, мимико-жестикulyторных компонентах нашей нормальной звуковой речи, комплексы которых неотвратимо выявлялись в специализированном зрительно-кинетическом сигнализме окружающих.

Нужно отметить, что специализированная кинетика глухонемых находилась в таком же взаимодейственном соотношении с естественными мимико-жестикulyторными компонентами, как и наша социально-полноценная речь, взаимодейственно увязанная с ее компонентами — мимикой и жестом, о чем мы уже подробно говорили выше.

Делая экспериментальные проработки в Ленинградской Железнодорожной школе-интернате для глухонемых, со своими сотрудниками — Коноваловой, Устиновой, Пясецкой вопроса о формах и содержании кинетического семантизма у глухонемых, мы выявили следующие основные черты его: обычно предмет не определяется в статически-неподвижной оформленности, а непременно более или менее сложными движениями сигнализирующей руки, преимущественно — правой. Для обозначения даже таких статических предметов, как, например, окно, кровать, глаз, ухо и т. д., делается изобразительное определение предмета движениями руки с так или иначе установленными пальцами (наиболее частыми участниками пальцевых движений бывают указательный палец и большой), делающими два движения к глазу, уху или изображающими окно, кровать и т. д. Очень часто одна и та же установка кисти руки обозначает различные предметы, если кистью делаются различные движения, например — сложенная рука с вытянутым указательным пальцем и мизинцем изображает посредством скользящих движений — мышь, а скачкообразными движениями — жабу и т. д.

Еще с большей кинетичностью сигнализируются те явления в жизни глухонемых, которые соответствуют комплексам глаголов — идти, бегать, носить и т. д. Но некоторые комплексы, например — «думать» — (указательный палец ко лбу и нахмуренные брови) выявляются в остатированной на мгновение форме кинетического сигнализма.

Наши наблюдения над «кинетическим мышлением» показали, что, в смысле семантической значимости форм сигнального символизма глухонемых, ведущим моментом является порядок расположения кинетических сигналов и символов, который обычно координируется в более или менее типизированной данным коллективом глухонемых последовательности. От расстановки кинетических сигналов в том или ином порядке зависит тот или иной смысл изображаемого. Причем нужно думать, что кинетически-сигнализационная система более связывает «кинетически мыслящего» глухонемого с окружающей его средой в момент говорения, в смысле необходимости ориентировки на реальные внешние раздражители, чем нас, владеющих звуковой речью и оформляющих содержание, пользуясь структурными нервно-физиологическими отпечатками прошлого словесно-оречевленного опыта.

Порядок расположения кинетических сигналов и символов, наблюдаемый в безсловесной коммуникации глухонемых, как момент, оформляющий семантику, отражается и на типизации их словесно-речевых оформлений, точнее — на системе звукопроизносительного оречевления данного содержания начинающим говорить глухонемым. Свою порядковую типизацию кинетических сигналов он переводит на порядок слов в устной и письменной речи. Так, на вопрос: «кто такой Ворошилов?», он кинетически отвечает, поднимая вертикально большой палец правой руки (первый, один, главный, глава, командир), затем — делает движение, указывающее звезду на шапке, и добавляет специальный знак красного цвета, поднеся согнутые в кольцо указательный и большой пальцы правой руки к левому плечу, и, наконец, описательным движением рисует шапку моряка с развевающимися лентами. В письменной же форме ответ на вопрос выливается в виде фразы: «один (первый), армия красная, моряк», или — «командир, красноармеец, флот».

Таким образом, получается чрезвычайно своеобразная структура работы мозга глухонемого, которая викарно на зрительном анализаторе создается у него в ответ на задания среды — выработать систему коммуникационных соотношений. Такая кинетическая система, вырабатывающаяся в их коллективах для коммуникационных целей, хранится в следовых структурных отпечатках их мозга, как система, пропитанная зрительно-

моторную динамикой всех органов тела. Она является способом накопления поведенческого опыта, производственно-трудовых навыков и т. д., влияя на комплексы содержания и на характерные черты так называемого «мышления» глухонемых, которое лучше всего обозначить термином — «зрительно-кинетическое мышление».

Укажу еще пример: то содержание, которое мы, нормально-слышащие и говорящие, выражаем в фразе: «вы взяли стул и сели на него», глухонемой передает в следующих словах: «стул положит сядь». Заказ на оречевление был сделан в форме драматизации, а не в форме мимико-жестикulatoryной, или артикуляции для чтения с лица. Мы видим, что в данном случае получается порядковое расположение слов, соответствующее тем рабочим движениям, которыми пользуется глухонемой при зрительно-кинетической передаче данного содержания; иначе говоря, «зрительно-кинетическое мышление» глухонемого отражается на звукопроизносительном и графическом оречевлении заказываемой жизнью тематики.

Пользуясь терминологией лингвистов, мы должны признать, что свое звукопроизносительное словесно-речевое развитие глухонемые начинают с аморфной или синтетической системы языкового общения.

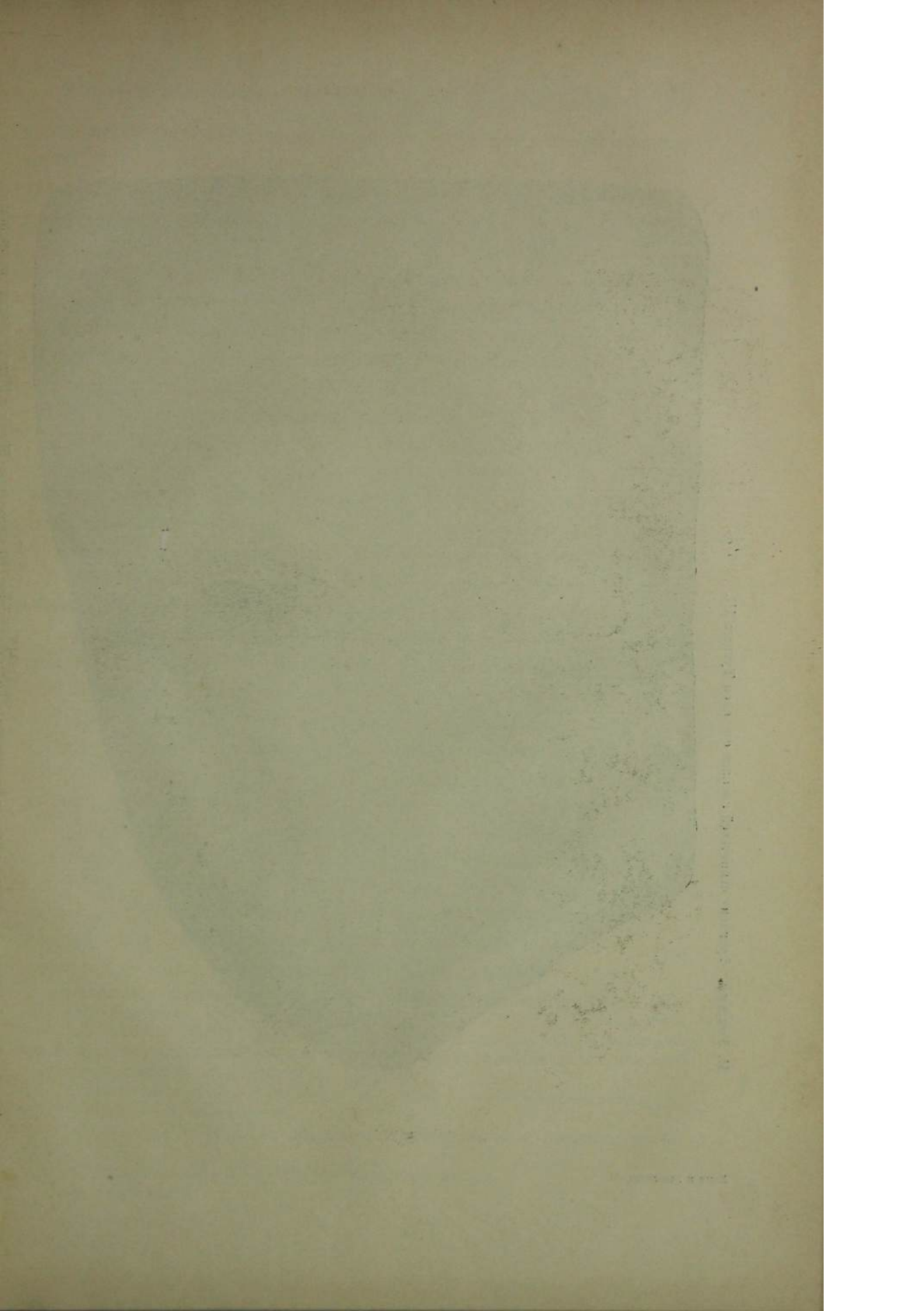
Однотипное явление мы наблюдаем при воспитании речи у афатиков. У них порядок расположения слов отражает особенности содержания фразы, причем соотношения предметов и явлений, выражаемых глаголами, флексиями, предлогами и т. п., у них обыкновенно отсутствуют. Например, нашу фразу: «Рыбак удит рыбу» — афатик оречевляет так: «рыбак, удочка, рыба». Следовательно, особенности содержания данной фразы, состоящие в соотношениях между рыбаком, удочкой и рыбой в виде рабочей позы рыбака за ужением рыбы, афатик грамматически не оформляет, а выражает содержание порядком слов. Интересно, что и глухонемые, с которыми был проделан тот же эксперимент, дали такой же порядок слов в письменной форме; причем и кинетическое изображение было проделано в такой же порядковой последовательности. Следовательно, и у нормально-слышащих афатиков, начинающих воспитывать звукопроизносительную речь, получается такого же типа аморфная система коммуникации, как это наблюдается у глухонемых. Наследственно приуроченные аппараты речи в мозгу глухонемого, начиная выработку звукопроизносительно-речевой функции, могут давать своими нейронными структурами только диффузные формы нарождающейся звукопроизносительной речи. У афатиков, благодаря поражению речевых аппаратов в левом полушарии мозга, исчезает совсем или деградирует полноценная речь. Они начинают воспитывать ее, поль-

зуюсь викарной работой новых, не охваченных болезненным процессом, нейронных элементов речевой сигнализационной работы мозга, переключая на них всю нагрузку; эти же нейронные элементы могут вначале давать только диффузную форму оречевления, т. е. указанные нами диффузно-аморфные структуры речи.

Таким образом, и афатики, и глухонемые начинают воспитывать у себя заново языковую коммуникацию, следовательно, — их речь представляет собою образец первоначальной системы языкового развития. Эти первые оформления речевого содержания носят черты аморфной системы. Полученные результаты наших исследований лишней раз подтверждают гипотезу о том, что аморфную систему речи, действительно, можно считать первичной системой коммуникации в языковой культуре человечества.

Наконец, остановимся на проблеме о конкретности или абстрактности (обобщенности-отвлеченности) мышления глухонемых. Глухонемые, как все люди, наследственно получающие систему анализаторных аппаратов для участия в производственно-трудовой жизни, не могут осуществлять социально-полноценного взаимоотношения со средой без аналитико-синтетического преломления ее в своем мозгу, без создания более или менее типизированных обобщенных и отвлеченных коммуникационных комплексов. Но в эту аналитико-синтетическую абстрагирующую работу мозга глухонемого не включены системы словесно-звуковых коммуникационных комплексов; между тем как словесно-звуковая речь, по самому генезису в жизни коллективов и динамической сущности своей и является системой абстрагированных комплексов, системой, вырабатывшейся в процессе длительного, на протяжении производственно-трудовой жизни многих поколений, пользования словесно-речевым мышлением. Кинетическая же коммуникация в коллективах глухонемых, как узко-групповая, тесно связана в своем кинетическом оформлении с конкретными формами вещей и явлений, приводя таким образом к выработке более конкретных систем мышления. Только в процессе длительной производственно-трудовой увязки с системами словесно-звуковой коммуникации нормально-слышащих кинетическая коммуникация глухонемых приобретает характер социально более полноценной коммуникации с определенно-сложившимися абстрагированными комплексами.

Более подробно о мышлении в увязке с речью, об абстракции и конкретности мышления я предполагаю высказаться в ближайшей работе «Учение о фразе».



И. Лившиц. Фрагмент египетской надписи с именем Тутмоса III.



Фрагмент египетской надписи Белорусского Государственного Исторического Музея в Минске (размер подлинника).

И. ЛИВШИЦ

Фрагмент египетской надписи с именем Тутмоса III

Публикуемый фрагмент (см. таблицу) хранится в Белорусском Государственном Историческом Музее, куда был доставлен в 1928 г. Найден на территории БССР.¹

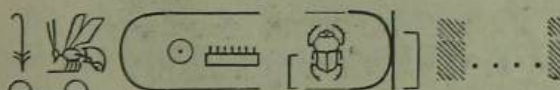
Материал — известняк.

Ширина — 17 см; высота — 12.5 см.

Толщина фрагмента колеблется, ввиду неровности поверхности задней стороны, от 2.5 до 3 см.

На передней стороне сохранились начальные части двух горизонтальных, идущих справа налево и отделенных друг от друга линией,² строк³ с титулатурой Тутмоса III:

 «Живет Гор 'могучий бык,
сияющий в Фивах'

 царь Верхнего и Нижнего Египта
Менхеперра»

¹ Как сообщает директор Белорусского Государственного Исторического Музея т. Рак-Михайловский, памятник «был найден б. научным сотрудником музея т. Палеес случайно в местечке Глуस्क, Глуцкого района БССР. Фрагмент камня находился под костелом и по нашему предположению мог быть завезен каким-либо помещиком, владевшим находившимся здесь раньше имением и путешествовавшим по Египту».

² Остатки таких же линий сохранились над первой и под второй строками. Справа, вдоль края, идет вертикальная линия.

³ Высота каждой строки 4 см. Иероглифы выполнены en creux, довольно грубо, без деталей.

⁴ От иероглифа сохранилась лишь небольшая часть внизу.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Еще один шаг назад

В. Б. Аптекарь. Вопросы языка в освещении яфетической теории. Избранные отрывки из работ акад. Н. Я. Марра, ГАИМК, Л., 1933, 560 стр. Библиотека ГАИМК, № 9.

В текущем году вышла интересная по замыслу и весьма тщательная по выполнению сводная работа В. Б. Аптекаря, носящая общий заголовок «Вопросы языка в освещении яфетической теории». Работа состоит из тематического подбора высказываний акад. Н. Я. Марра по отдельным вопросам общего языкознания.

Констатируя точность выписок и достаточно полный охват основной проблематики, приходится все же отметить несколько наиболее существенных с моей точки зрения моментов, определяющих ценность всего проведенного труда.

Первое, что мне хотелось бы указать, это — неучет спецификума яфетидологических работ. Дело в том, что сам подход к изучению языковедных проблем пережил целый ряд этапов, отмечаемых всеми яфетидологами и прекрасно известных самому В. Б. Аптекарю. В связи с этим, ни для кого не секрет, что сама оценка фактического материала и тем более научное его обоснование менялись, получая отличные освещения в различные эпохи. Отсюда ясно, что размещение цитруемых выдержек должно подвергнуться поэтапному их распределению. Смешение же всех этапов воедино в одном плавном изложении заранее обеспечивает смешение выводов, сводя на-нет показательность историзма в самом ходе новой лингвистической теории. Этот момент остался неучтенным автором рецензируемой работы, передавшей яфетидологию в ее мнимом стабильном смешении.

Новое учение о языке, в его общем охвате, наоборот, следует передавать по пройденным его этапам, выделяя ведущую линию каждого из них, или же брать только ныне действующие положения, а в таком случае без ссылок на работы предшествующих периодов. Эти последние в свою очередь ценны в общем объеме ведущей линии и понятны только в их комплексе, хотя бы отдельные положения и сохранили актуальное значение по сей день. Дело не в отдельных высказываниях, а в общем их обосновании под определенным углом зрения.

Во-вторых, наиболее показательным в работах Н. Я. Марра является обоснование всех его выводов на конкретных данных анализируемого материала. Такая опора, буквально на каждом шагу, на фактический материал открывает широкие перспективы для сознательного подхода ко всем сложным проблемам языкознания, подкрепляя теоретические построения их обоснованием на лингвистических фактах. Между тем, В. Б. Аптекарь вовсе изъясняет материальную часть, предоставляя читателю на-слово верить оголенным цитатам.

Спрашивается, кому при таких условиях предназначается опубликованный труд? Студенту или аспиранту? Ни в коем случае. Растущие кадры уже установились в своем требовании опоры исследовательской работы на анализе самого материала. Научным работникам? Тоже нет. Специалисты-яфетидологи используют данную работу только как развернутую картотеку к основным, находящимся под рукою, трудам Н. Я. Марра, но едва ли автор имел в виду этот круг читателей, ограниченный несколькими десятками. Конечно, книга предусматривает более широкие слои, что и оговаривает сам автор в своем предисловии. Но кого же тогда? Я боюсь, что весь крайне кропотливый труд В. Б. Аптекаря окажется наиболее пригодным тому кругу наименее добросовестных исследователей, который сейчас, с выходом в свет «Вопросов языка в освещении яфетической теории», приобретает легкое средство насыщать свои статьи цитатами из Н. Я. Марра, не прибегая к более сложному пути ознакомления с ними в подлиннике. Но разве автор преследовал цель содействовать вульгаризации нового учения о языке?

И. М.

Черкесская культура по данным языка в интерпретации проф. Н. Ф. Яковлева

«В начале все по функции». Речь ли о космическом, столь далеком и столь же близком, в непрерывной с огромным историческим опытом человеческой практике, или о самом бесспорно непосредственном, насущном — орудиях-предметах неразрывного с космосом производства, — все равно по функции. Иногда это тем затруднительней понять, что не только затруднительно выйти из замкнутого, насквозь пронизанного семейственностью «обыденного» мышления, будь оно личное, родовое или национальное, но более затруднительно, в силу того же мышления, спуститься до глубин нераздельного в противоположностях движения действительности без малейшего намека на психологический символизм.

Это по языку и об языке. По новому учению — яфетической теории. Тоже по марксизму. И не по языку вообще — ибо такового нет, но языку проникновенно связанному с материальной действительностью, с материальной культурой, которая, к вежливости сказать, учитывается сплошь и рядом лишь «постольку-поскольку», в линии геометрической касательной, но не диаметрально, органически.

Так, например, у проф. Н. Ф. Яковлева. Несколько работ, посвященных или в разной мере затрагивающих вопросы черкесской культуры по данным языка¹ — не согласуются ни с первым, ни со вторым, ни с третьим. Ну, марксизм можно еще принять — так легонько, «социологически». Но что хорошего может быть в Назарете — яфетической теории? Или хотя бы материальной культуре от ГАИМК?

У Н. Ф. Яковлева свои теоретические предпосылки и основания.

Характеризуя черкесскую культуру по данным языка, такого содержания, которое соответствовало бы моносиллабичному пласту в развитии черкесских языков, т. е. определяя эту культуру по односложным корневым словам и корням типа открытого слога, Яковлев считает основным моментом, «отправным пунктом языкового развития, приведшего черкесские языки к их теперешнему состоянию»,² богатство согласных, которые стоят не только в прямой зависимости от моносиллабичности, но даже через эту последнюю определяют примитивность строя одного черкесского языка перед другим.

На основе этой предпосылки, вернее предпосылок, строго подсчитывая количество моносиллабичных корней и слов, он пытается установить культуру черкес. И не только культуру черкес, но более — «установить различие между черкесской культурой, которая была у них до столкновения с русской и турецкой, и черкесской культурой после воздействия таковых. Другими словами... установить облик той примитивной культуры, которую она носила до влияния новейших чужеземных культур», «до завоевания черкес, когда они оставались еще в стороне от сношений с другими народами».³

Дата солидной давности. Приличная задача. Материальная культура по Северному Кавказу разработана тоже прилично. Не так много, но не плохо. О языковом развитии «кое-что» есть по марксизму, больше, даже много — по яфетической теории.

Н. Ф. Яковлева это не интересует. Выхватив из системы черкесских языков моносиллабичный слой, поставив его вне всякой связи и зависимости от целого, законсервировав развитие его значений (за исключением весьма неорганического и робкого утверждения: «весьма вероятно, что некоторые единичные (подчеркнуто мною. Г. Т.) слова первичного звукового типа могли принять последний лишь в результате изменений из более сложного звукового вида. Так, *qe* (*ke*) 'ущелье' хочется сопоставить с осетинским *qom* 'ущелье'» и т. п.,⁴ проф. Яковлев сразу же пытается схватить «быка за рога», стать на ортодоксальную социологическую позицию и заявляет:

¹ Черкесская культура по данным языка. «Революция и горец», № 2, 1928 г.; Материалы для кабардинского словаря, вып. I, 1927 г.; Краткий обзор черкесских (адыгейских) наречий и языков. С. К. Краевой Горский НИИ. Зап., т. I, 1928. — Яковлев и Ашхамаф. Краткая грамматика адыгейского (кяхского) языка. 1930.

² Н. Яковлев, Краткий обзор..., стр. 126.

³ Черкесская культура по данным языка, стр. 59, 61.

⁴ Материалы для кабардинского словаря. Введение VI.

«Я совершенно расхожусь с акад. Марром, который считает, что первыми словами должны были быть 'небо', 'луна' и т. д. Я думаю, что для того, чтобы додуматься [подчеркнуто мною. Г. Т.] до 'неба', нужно было бы прежде иметь что-нибудь для еды. Мне кажется, что человек идет от ближайшего, т. е. от своего собственного тела. Значит названия частей тела и должны были появиться на языке первыми».¹

Значит (не входим в «компетенцию» проф. Яковлева по яфетической теории) — в определении окружавшей его объективной действительности, видимо и производственного процесса, человек отправлялся от собственного носа. «Додумался» ли до этого примитивный человек, но Яковлев додумался. На неискущенного в социологических вопросах читателя это утверждение проф. Яковлева может действовать подкупающе.

Конечно, можно полагать, что черк. фе 'нос' определило семантику таких значений, как фе 'конец ↔ начало' и, конечно, можно полагать, что единством этих противоположностей явилось обозначение 'носа', но если полагать и другое, что в определении термина 'нос', человек, как всегда, отправлялся от практики, но не от сознания, что дифференциация 'конца' и 'начала' выработалась из единого, нерасчлененного, синтетического представления в результате непосредственного уточнения человеческой деятельности, уточненного отношения с реальной действительностью, которая не могла не существовать и давать о себе знать помимо, вне человеческого носа или более, что первичнее — коллективного носа, то станет весьма и весьма сомнительным это утверждение проф. Яковлева.

То, что Яковлев отрицает отображение в моносиллабичном слое черкесских языков реального мира вне человека, общества, т. е. отрицает почти целиком существование и практическое функциональное значение многих реалий природы, вне условий которой и без которой не могло развиваться никакое производство, видно хотя бы из того, что в составленном Яковлевым словаре отсутствуют такие космические термины как 'солнце', 'луна' и даже такое весьма конкретное явление как 'огонь'; причем все это, как ни странно, при наличии весьма развитой терминологии по сельскому хозяйству и скотоводству.

Отсутствие этих терминов в кругу черкесской культуры моносиллабичного слоя по речи объясняется моментом формального подхода по технике речетворчества, но не технике мышления, не учетом взаимопроникновенности в генетическом развитии элементности, когда в процессе семантической дифференциации моносиллабичное по речи-мышлению входит в противоречие с бисиллабичным.

Так, каб.-черк. да́га 'солнце' не может быть ориентировано на моносиллабический слой исследуемого языка, если оно не будет выдвинуто далеко за его пределы, хотя бы по дериватной эквивалентности таких значений как 'солнце-день', и едва ли можно в данном случае обойти

¹ Черкесская культура по данным языка, стр. 61.

груз. dḡe 'день', мегр., чанск. dḡa 'день', в самом грузинском, даже без необходимости привлечь убыхск. an-dḡa 'солнце',¹ выявляющееся палеонтологически в двух противоположностях др.-груз. o-de-s 'когда', буквально: 'в (дат. -s) какой день (de)' (ср. русск. «на-ды-сь» 'на днях этих') и ḡa-me 'ночь' (одноэлементно в абх. ḡa 'ночь'). И тогда процесс развития оказывается налицо.

Не уйти от этого единого в противоположностях по надстроечно-космическому и производственному (хотя бы и ручному) в определении термина 'огонь', но не ma-ḡe, а каб.-черк. s_mḡe 'огниво' ← 'огонь', случайно или не случайно у Яковлева отсутствующего (при наличии ф-s_mḡe-ḡ 'горячий'), так как оно, более чем первое, опрокидывает все доводы исследователя о изолированности черкесов в речетворчестве, хотя бы и «примитивных» стадий. В диалектических противоположностях оно проявляется не только у черкесов в их s_mḡe 'огниво' ← 'огонь' и s_mḡe ['холод'] в составе инфинитива s_mḡe-n 'мерзнуть' (о воде, земле), 'обледенеть', но по той же противоположности, то покинутое, как бы на одной стороне русск. «сты-ть», с дифференциальным по категории социального значения «сты-д» (~ «сту-д-иться») первое — космически 'солнце' ↔ 'тотем',² почему «гореть от стыда», с параллелью каб. s_mḡe в «за-сте-н-чивый», соб. 'стыдливый'; то из славянских, в сербском в тех же противоположностях при е||1 — «стї-ну-ти-се» 'застыть' и 'стї-ња-ти-се» 'истлевать', 'гаснуть' [← 'гореть']. По проникновенности в развитии от единого 'огонь' ← 'солнце' [тотем] 'рука' → 'огниво', s_mḡe и 'рука', в каб. s_mḡe-n 'взять', как в серб. «стé-г-ну-ти кога рукама» 'зажимать', в русск. «сте-га-ть» 'бить', везде рукой, при аналогичном кабардинскому, но суффиксальном показателе понудительности действия «га», «г» (каб. ḡa — префиксальное). От 'руки', функционально, к палеолиту s_mḡe → sḡe 'камень', потому здесь опять неизбежные встречи и с серб. «стé-на» 'камень' и нем. «stein» (шḡeун) с каб. s_mḡe ← s_mḡa-ḡuḡ 'кремень' (эквивалент серб. «стé-ḡак» 'нагробный камень') собств. возможно и 'огниво-камень' (ср. абх. a-ḡaḡ 'камень' и каб. s_mḡa-maḡe 'трут').

Параллели эти менее всего располагают к случайности, так как синтетическое по строю, тотемистическое по идеологическому направлению мышление, только на подступах к дальнейшему аналитическому подготовило нарастание категорийности в распределении образов-представлений, элементов мышления, и только в этих условиях, хотя бы в том же грузинском, оказались практически разобщенными q-va 'камень' и q-ve 'низ', 'преисподняя', прекрасно представленные в линии функционального ряда по двум разновидностям закономерных социальных огласовок грузинского языка и как q-va 'камень' ↔ др. груз. q-va-b 'пещера' [низ] и как q-ve 'низ' ↔ qve + me-ḡi 'орудие' собств. как бы 'каменная рука' → 'меч'. Рас-

¹ Adolf Dirr. Die Sprache der Ubychen. Caucasica, fasc. 4, S. 89. Leipzig, 1917.

² В дальнейшем как в ф.-угор. мадьярск. «isten» 'бог' ← русск. «и-ст-ый», «истина», чув. ḡaḡ 'истина', 'правда' ← 'солнце'.

щепление трудкосмического производства, действия, на противоположности: космос и труд, следуя по двум социальным слоям речи, находит свое выражение в сосуществовании при груз. моносиллабичном $\text{qe} \parallel [\text{qa}] \nearrow \text{qe-l}$ 'рука' $\parallel \text{qe-l}$ не только параллельных форм, с нарастанием элемента В: груз. $v+1+q\text{-va}+m$ 'брат' $\parallel v+1+q\text{-va}+m$ (ср. qe-l-s 'брат' букв. 'рука то'); $\leftarrow (q\text{-va}$ 'рука'), др. груз. $k\text{-we}+\text{э}$ 'резать' $\leftarrow (k\text{-we} \rightarrow q\text{-ve}$ 'орудие' $\leftarrow$ 'камень') при $[\text{qe}$ 'низ'] $\rightarrow q\text{-ve}$ 'низ', 'преисподняя' ['небо₃—вода'], но сигнализируя взаимоотношения свистящих и шипящих слоев внутри языка, $\text{qe} \rightarrow q\text{ve} \leftarrow q\text{u}$, и $[\dot{q} a] \rightarrow q\text{-va} \leftarrow q\text{o}$ «систематизирует» представления по первичному, практическому критерию. А именно: 'камня' (qa) нарастанием в нем элемента В $\text{B} \rightarrow v \rightarrow (va \parallel ma) \rightarrow va-l \parallel ma-l$; $ma\text{-г} \leftrightarrow va\text{-г}$ 'рука', т. е. по кругу ручному, по функции орудия производства (ср. груз. $ma\text{-g}ue\text{-na}$ 'рука правая' $\leftarrow$ абх. $a\text{-ma}$ 'рукоять' ['рука']; и 'камня', с тем же нарастанием элемента В $\text{B} \rightarrow v \rightarrow (ve \leftrightarrow me \nearrow \text{фе}) \rightarrow ve-l \leftrightarrow me-l \nearrow \text{фе-l}$, по космосу, миру, стоянке, одному из трех небес, в данном случае по 'земле', 'полю', 'месту' (груз. $ve-l$, мегр. ve 'поле', каб. фе 'поле', 'место' и груз. $so\text{-fel-l}$ 'мир', 'деревня').

Заложенное объективно в практике, по мышлению это расщепление по камню действительно и для сванск. $gog\text{-e-w}$ 'булыжник' (мн. $la\text{-gur-e-w}$ 'камни') и в элементе $gog \leftrightarrow gur$, resp. $[gwer \leftrightarrow gwir]$ по учету сосуществования og с нарастанием $og \parallel wer$ 'земля', с повторением его в исходе $w \rightarrow we\text{-г}$, и по руке, палеонтологически og в $o\text{-г}+1$ 'два', независимо, будь оно из грузинского.

Действительно оно и для русск. диал. $ka\text{-me-l} \parallel$ лит. $ka\text{-me-ц}$ (как $k_a \rightarrow k_{wa} \leftrightarrow k_{ma} \sim kam$ (серб. $k\dot{a}\text{-m}$ 'камень', по $me-l$ 'низ' $\leftarrow$ 'земля' (ср. оно в «зе-мель») и по $me\text{-ц}$ (диал. пск. $me\text{ц}$ 'ком' $\leftarrow$ 'земля'), но по 'руке' уже «к-ре-ме-нь» первично $k\text{-ге} \rightarrow k\text{-ге-me}$ и т. д., где ожидалось бы * $ka\text{-ге-me-ц}$, с ka 'камень' $\rightarrow k$, и $ге \rightarrow ге-m \parallel ga\text{-m}$ 'рука' (ср. др.-русс. «ра-мо» 'плечо', чешск. $g\grave{a}\text{-m}\check{e}$, ген. $ga\text{mene}$ 'рука', 'плечо', при русск. и слав. «ре-ме-сло» $\parallel$ «руко-ме-сло»).

Действительно оно, при наличии уже в трех затронутых языках, и для черкесского.

Каб. $\text{фе} \parallel \text{фа}$ 'рука', параллель груз. $\text{qe} \rightarrow \text{qe-l}$, закономерно, с нарастанием элемента В, как $\text{фе} \parallel \text{фа}$ должно было бы представляться функционально в значении, по крайней мере по камню. А как? Абх. $a\text{-k}\grave{a}\text{-г}\acute{o}$ 'каменистое место', соб. 'камень' и каб. $k_a\text{-s}_m\text{ha}$ 'гора' (в выражении $k_a\text{-s}_m\text{ha-m}$ $des_m\text{ar}$ 'жители гор' (в этом подъеме начального спиранта, в аффрикате, относительно f , располагает к космическому 'небу'^I, нашему 'небу', моносиллабично в каб. оа (собств. оа-fe 'небо' $\rightarrow$ ое 'град' — дериват). Тогда для каб. 'гора' две разновидности, стадияльно различного по мышлению восприятия: $k_a\text{-s}_m\text{-ha}$ представление о 'горé', образованное космически по 'камню' и более архаично, по 'руке' $\text{фа-s}_m\text{ha}$ 'гора'. Но, судя по абх. $k_a\text{-г}\acute{o}$ $\leftarrow$ 'камень' систематизация его могла развиваться в параллель груз. по 'низу', 'небу'^{III} $\rightarrow$ 'небу'^{II} = 'земле', поскольку рядом $k_a\text{-г}\acute{o}$ в падении

аффриката $k_{\circ} \searrow k_{\circ}$ — а- $k_{\circ}$ а-г, а- $k_{\circ}$ а-га 'речка' ← 'вода', но функционально, а не нарастанием, в чем стадияльно, по ответвлению в пути развития, у него и свои пути соотносительно с каб. [$k_{\circ}$ а].

Развитие значения 'камень', орудийно, по 'руке' в каб. есть и без дифференциального нарастания элемента В: φ е 'рука' ← $k_{\circ}$ э (resp. $t_{\circ}$) 'ручка' (← 'рука') → $k_{\circ}$ э-г 'каменистое место' ← 'камень', хотя каб. $k_{\circ}$ а ['камень'] с нарастанием элемента В представлялось некогда и в линии 'руки' → 'орудия'. Свидетель в озвончении убых. « γ ца- $\check{c}$ 'э γ » ($\check{g}$ а- $t_{\circ}$ э $\check{g}$) 'камень'¹ функционально оно же в каб. $\check{g}$ а- φ е 'медь', соб. 'плавильный камень'; космически — 'небо'³ → 'низ', каб. $\check{g}$ а в $\check{g}$ а-не 'дыра', отверстие, букв. 'преисподней глаз'.

У Яковлева и по камню и по металлам совершенно иначе — их просто не оказалось, поэтому для черкесской культуры по своему исследованию он констатирует: «термины по обработке металлов почти отсутствуют».² Причины этому скрываются не только в порочности уже указанного методологического подхода, но в частности и в оригинальности самого объяснения, с которым проф. Яковлев приступает, например, к адыг. черк. «тэ- $\check{z}$ о» 'камень'. Видите ли, это: тэ (не) $\check{z}$ о (пахать), след. «то, что не пашется».³ Получается, что представление о камне и его наречение вошло в язык черкесов после наличия пахоты, с развитием сельского хозяйства. Повидимому, с точки зрения проф. Яковлева, эпохи каменных и металлических индустрий благополучно минули черкесов. Но как же быть тогда с тем, что обнаружено в области материальной культуры для Северного Кавказа: «до момента оформления скифской культуры на Северном Кавказе мы можем встретить в прочных бытовых сочетаниях и камень, и медь, и бронзу, и железо, и при этом нельзя не отметить, что до этого момента камень [подчеркнуто мною. Г. Т.] (кремень, квардит, или др. твердые породы) не утрачивает своего значения, как материал для изготовления орудий».⁴ И как быть с тем, что каб. черк. тэ- φ е 'камень' оказывается в исходе моносиллабичным, как и каб. тэ- $s_{\circ}$ е 'бирюза' (к.-бал. m - $\check{d}$ а 'драгоценный камень'), именно в первом — с дифференциалом $v_{\circ}$ || φ е 'небо'³ ('низ', 'вода'), почему $v_{\circ}$ -п 'таять' (следовательно, здесь та же последовательность, как и в грузинском q - φ а 'камень' и q - φ е 'низ') и во втором — с дифференциалом $s_{\circ}$ е по противоположности пыне 'низу', 'дну' — $s_{\circ}$ е || $s_{\circ}$ э 'земле', 'небо'¹ → 'верх', т. е. 'бирюза' это 'камень космический', камень с дифференциацией, с введением в круг 'неба'¹, хотя вполне возможно, что и в круг 'неба'³, в зависимости от стадии вхождения его в обиход. Из металлов исключительный, если не особый интерес представляет каб. $\check{g}$ и- $s_{\circ}$ е 'железо', по наличному в использовании одноэлементному $\check{g}$ и → $\check{g}$ и, эквиваленту sku → ku , т. е. на подступах к тому моменту «настоящего... индустриаль-

¹ A. Dirr. Die Sprache der Ubychen, fasc. 4, S. 111.

² Н. Ф. Яковлев. Материалы для кабардинского словаря. XV—XVI.

³ Н. Ф. Яковлев и Ашхамаф. Краткая грамматика адыгейского (кяхского) языка, стр. 53.

⁴ А. А. Миллер. Северо-Кавказская экспедиция 1924 и 1925 гг. Сообщения ГАИМК, т. I, 1926, стр. 137.

ного усвоения железа...», который здесь на Сев. Кавказе «совпадает... со временем оформления элементов «скифской» культуры».¹ В вариантах различного отзвончения оно выявляет себя по более широким кругам и если оказывается в каб. черк. как $\check{g}u-s_{\underline{m}} \parallel \check{g}\check{a}-s_{\underline{m}}$, адыг. $\check{g}u-z$, то уже сигнализирует некоторую специфичность различных сред, так как $s_{\underline{m}} \parallel z$ для черкес. оказывается дифференциалом-ключом, именно рудного, индустриального его значения, где $s_{\underline{m}}$ не иначе как $s_{\underline{m}}\check{a}$ 'земля', как и в его русском эквиваленте $ku-z \rightarrow ku-z-ne-\check{y}$ 'кузнец', z равно ze ($ze-m\check{a}$). Это ориентирует в известной мере и на особый характер элемента $C \rightarrow \check{a}$ в самом $sku-\check{a} \parallel \check{g}u-\check{a}$, на его более позднюю роль в развитии первоначального $sku \parallel \check{g}u$ 'скифы'. Надстроечно и по общественности это $\check{a}$ нужно было бы отнести, вероятно, к родовой организации с тотемистическим мышлением, с нарастанием, функционально, терминологии по физическим признакам от социальной значимости, в схождениях и расхождениях по кабардинскому и с русским и с сербским из славянских, совр. русск. «худой» и 'тощий' телесно и 'дурной' с каб. $\check{e}d \parallel \check{e}d$ 'худой' ('тощий'), но по феодально-классовому др. русскому «худой» социально и 'бедный' потому 'тощий'; надстроечно, тотемистически 'злой' (серб. «уд», словин. «hūdi», оно же «ta hūdi» 'черт'), как бы 'чужой' по противоположности 'своему', 'любому', «го-д-ному», «го-ж-ему».

По этому скифскому тотему расхождения и схождения по мышлению глубже по соответствиям конкретно каб. $\check{y}d \parallel \check{e}d$ 'колдун', да др. русск. «ку-до», «ку-де-се» 'колдовство', «кудесник» 'колдун' (лично «Ку-де-яръ»), социально наместник тотема, с абстрактным, по пути к единобожию, узб. «худа», перс. $\check{q}u-\check{d}a$ 'бог', груз. $\check{g}u-\check{d}a$ 'бог' и нем. $go-t$.

Именно глубже, поскольку в совокупности проявлений конкретного, а не абстрактного, оно больше тяготеет к одноэлементному «ху» $\nearrow \check{q}u \rightarrow \check{g}u$, гезр. sku и т. п. — т. е. к животному, астрально-космическому тотемизму.

И здесь, что вскрыто по раскопкам «доскифской» культуры на Северном Кавказе, в частности, по Кюбякову городищу вблизи ст. Аксайской, не может быть оставлено в стороне, не учтено в лингвистическом развитии района. Особый интерес и по доисторической глубине и по широте охвата представляет терминология по крупным и мелким рогатым животным, тем более, что она выявляет собой тот процесс, который в дальнейшем наметился и оформился использованием «скифского» тотема.

В некоторых случаях он прослеживается здесь вплоть до палеолита (стоянка у ст. Ильской на Кубани), а по данным Кюбякова городища оказывается достаточно интенсивным даже по сравнению с вовлечением в круг хозяйствования собаки и лошади.

Функционально, по фактическим данным и материального и эпосно-песенного характера этот круг животных разворачивается по ряду 'олень' $\parallel$ 'бык' $\rightarrow$ 'корова' $\parallel$ 'овца', и в этом отношении значительно рельефнее

¹ А. А. Миллер. Северо-Кавказская экспедиция 1924 и 1925 гг. Сообщения ГАИМК, т. I, 1926, стр. 136.

начать не с черкесского, но мегр. *sque-g-1* 'олень' ← **sqo-g-1*, поскольку функционально ему эквивалентом выступает мегр. *ḡḡu* 'корова', чанск. *ḡḡu-g-1* 'овца' \ мегр. *ḡḡu-g-1*, в груз. моносиллабично *ḡoḡ* → *ḡḡo-var* 'овца'.

В каб. черк. соответственно окажется использованным *ḡoḡ* || *ḡka*, но только в составе *ḡoḡ-l* 'вымя, букв. 'коровы мясо', как и *ḡka-s_me* 'теленки' букв. 'корова молодая', гесп. 'коровы дитя'. Каб. черк. *s_mḡh*, абаз. *ḡḡḡ* 'олень' окажется несколько отодвинутым раздвоенным в моносиллабичной основе, тогда как здесь ожидалось бы *s_mh* || *ḡhu*. Причины этому нужно видеть в функциональном продвижении самого термина 'олень' по смене и использовании в хозяйстве собаки и лошади, которые оказались для кабардинского и др. черкесских компонентами самого *s_mḡh* и вызвали безусловное его перерождение, соответственное раздвоение моносиллабичного *s_mh*. Именно функционально, последовательно, отпочкование *h* → *ḡa* || *ḡe* 'собака' и затем *ḡḡ* 'лошадь' (первично *s_mḡ*, сравн. *s_mḡs_mḡ-n* 'ржать') обусловило нарастание прафункционального *ḡ* и конечного *e* || *a*, как то явствует из абаз. *ḡḡḡ* 'олень'.

Если полагать, а на это есть основания, что моносиллабично каб. 'олень' звучало как *s_mḡhu*, гесп. *s_mḡhu*, т. е. являлось эквивалентом каб. *ḡoḡ* 'корова', в функциональном развитии, как и мегр. *sque-g-1* ← [*sqo-g-1*] 'олень' → *ḡḡu* 'корова' ← 'бык', или типологически абх. *a-ḡḡ* 'олень' (самка) *ibid.* *a-ḡḡ* 'олень — королева', гесп. *a-ḡḡ-aḡ* 'олень' (самец) букв. 'олень — бык', то неизбежно встанет вопрос, что в каб. *ḡoḡ* 'корова' не далее как функциональная разновидность *s_mḡh* ← *s_mḡhu* 'олень' по другому ряду и 'лошадь' (ср. каб. *ḡoḡ* 'узда'), чему не только типологическое подтверждение в абх. *a-ḡḡ* 'олень' → *a-ḡḡ* 'лошадь', но и само отпочкование *ḡḡ* 'лошадь' от *s_mḡh* 'олень' в кабардинском. И вот развитие этого моносиллабичного *s_mḡhu* \ *ḡoḡ* || *sku* ↔ *ske* едва ли не сигнализирует еще тотемистическое, животное, на подступах скифское, так как в дальнейшем с элементом родового значения *ḡa* → *ḡ* оно выступает здесь, скрепляя и объединяя групповое многообразие конкретного общим термином *ske-t* 'скот'.

Более того, оно скрепляется по нераздельному с производством, хозяйством тотему, в каб. *s_mḡḡu* → *s_mḡḡu-g*, как это явствует из функционального каб. *ḡa-s_mḡḡu-g-ḡ* 'бешеная собака', собст. 'ḡa (собака) *s_mḡḡu-g* (тотемом) одержимая', тотемом неба → (солнца → оленя), почему в мегр. этот тотем выступает действительно в термине *ḡḡu-g* 'страх', 'боязнь', каб. 'o-s_m-ḡḡ' 'бред' || / чан. *da-ḡḡu-g* 'огонь', мегр. *da-ḡḡu-g*, груз. *ḡe-ḡḡl* 'огонь' ← 'верхнее небо'¹ → как. *s_mḡḡo* 'синий' ← 'небесный'.

И здесь едва ли можно обойти параллели к русскому, где оно явственней и по хозяйству и по фольклору, именно по *s_mḡh* → «сох-атый» 'олень', 'лось', он же тотемистически 'огонь' → 'солнце', в функциональном по огню «сох || сух || сых» 'сохнуть' с его вариантами по эпосу, фольклору нераздельный златорогий олень-солнце.²

¹ См. Н. Марр. Из Пиренейской Гурии. КИАИ, т. VI, 1927, стр. 26.

² См. Шейн. Великоруссы в своих песнях и т. д., т. I, вып. I, стр. 83, В. Караджич. С. П., I, 121, 166 и др.

Таковы лингвистические поправки в определении «доскифского». Видимо в его датировании, даже при несомненных данных материальной культуры, приходится проявлять большую осмотрительность. Необходима она и в другом. В развитии моносиллабичного. Кое-что оказывается вторичным по взаимопроникновенности и культурных слоев и слоев речи. Несомненно оно для шә 'лошади', с его звонким эквивалентом в русском «же-робя» || «же-ребя» 'лошади дитя', 'жеребенок'; несомненно для һе 'собака'. Функционально вторично и шқә 'теленка', как часть по целому ← 'корова'. Иначе — все стабильно. Так по крайней мере у проф. Н. Ф. Яковлева.

Новым светом освещают лингвистические данные и более близкие исторические эпохи, ибо как бы ни рассматривать отрешенные во времени фонетические корреспонденции, но за ними всегда и везде выступают конкретные трудовые отношения, живые люди, творцы созидания культуры Причерноморья. Отступают назад «доскифский» → скифский элемент, создаются на почве отходящих новые процессы, семантически, по речи, вскрываются другие вещи.

Языком бесписьменных фактов восполняется история родовых организаций Предкавказья и равнин «южной Руси». Освещенные генетически факты обнаруживают по тем же корреспонденциям, но конкретно иначе, поразительные встречи по терминологии социальных отношений, «классовой» солидарности господствующих в эксплуатации широких слоев трудового населения, различной по речи, но сходной по строю общественности. Так, выступает каб. черк. һә-s_ue 'работник', адыг. һә-тә 'работник', в сходениях, с отошедшим уже к феодализму словин. «tla-čän» 'крепостной работник', ← 'раб', «tla-ka» 'барщина', одноэлементном словин. и др.-русск. «таль» 'заложник'.

Функционально, в развитии, прослеживается оно с более широким охватом по языкам и в терминологии таких образований, в которых безусловно вскрывается наличие соответственной концентрации мощи и силы по угнетению в одних руках. Общность социально-эксплуататорских интересов, а не что другое, могло создать эту терминологию, почему не случайно каб. черк. ġa-һe-n 'угнетать', 'мучить', с префиксом понудительности действия ġa и вполне закономерном, относительно һә-s_ue, чередовании ә || е оказывается в соответствиях и к русск. «тл-ть», «рас-тл-ть» 'раздавить', 'изнасиловать', словин. «tla-čiti» 'давить', 'прижимать' и серб. «по-тл-ч-тель» 'притеснитель' при «пр-тл-а-рити» 'мучиться', 'бедственно жить', да чешск. «ро-tla-čeni» 'угнетание'. Несомненно, что подобная терминология, восходя генетически по значению к 'силе', 'руке', каб. һe-қi-n 'мочь', һe-қi-ġa 'право' → 'рука' (срав. ġa-һa-ġ 'изъяснение') в моносиллабичном һe || һa имеет ее общей и по уже вводимых в круг исследования славянским языкам.

Чешск. «tle-ska-ti» 'рукоплекать', 'бить в ладоши' (← tle 'рука') и чешск. «tla-pa», resp. «t'lá-pa» 'лапа', «tla-pa-ti» 'гоптать' || серб. «тл-ч-ти», только момент в развитии этих понятий по расщеплению на противо-

положности синтетического «tla-ra». В его дальнейших вариантах и в чешск. «t'á-ra» 'лапа', «t'a-ra-ti» 'ходить' ← 'нога' и русск. la-ra, «лапать» 'хватать руками' ← 'рука', дифференцированное по двум направлениям, оно находит себя в этих направлениях, но глубже и в каб. черк. hə 'нога', hə||hə оказывается и 'рукой', не только в уже упомянутом ḡa-hə-ḡ 'изъяснение', но и ḡsa hə 'речь', первично 'язык', 'голос руки', ибо ḡsa глухая разновидность bze 'язык', 'речь', абх. a-bz 'язык' и a-bje 'голос', а hə и 'рука' и функционально 'речь', как и в сербск. «tla-p-ňa» 'разговор', 'молва', «pr-tla-ti» 'болтать'.¹

Но как бы глубоко ни уходили данные по генетике терминов социального угнетения, это одно не решает вопроса. Угнетение полагает определенного объекта — человека (каб. черк. hə 'муж', 'человек', как то в ḡsə-hə 'раб' = 'княжой человек') первично коллектив, общий по социальной организации, но не всегда общий по единству речи (каб. hə-p-k 'племя', 'поколение', 'род' → hə-p-kə-ḡa 'сословие', русск. [tlo-p] «тол-п-а», чешск. «tlu-ra» 'толпа' ← 'люди', но без спираントного исхода k первично kə 'сын', 'двня', разумеет объект своей эксплуатации на определенно конкретной базе. И вот здесь лингвистические свидетельства идут в сторону выявления возможностей по двум сопутствующим и нераздельным направлениям: с одной стороны, hə 'человек' и ему эквивалентное «чл» → «чел» в составе «чел-о-век» в подъеме t / t с его телом (русс. «тул-о-ви-ще» в закономерных межязычных корреспонденциях ə || u), с другой — «tle» 'земля', каб. hə-ḡə 'пол' букв. 'земли поверхность', др.-русс. «tle» 'земля', совр. русск. «tlo» 'пол', 'дно', серб. «tlə || tlò 'почва', 'земля', 'пол', слов. «tlà», «tâl-ni» 'почвенный'. Следовательно, каб. hə-sə, адыг. hə-te 'работник', слов. «tla-čan» 'раб' → 'крепостной работник' и слов. и др.-русс. «tаль» 'заложник' — по земле.

И не будет ли исторически поспешным утверждать, в строго определенной форме, как это делает проф. Яковлев, что «феодализм кабардинцев и бесленеевцев и вслед за ними и прикубанских черкесов экономически основывается не на владении землей [подчеркнуто здесь и далее мною. Г. Т.], но на монопольном праве добывания рабов и торговли ими. Отсюда система кабардинского феодализма во многих своих чертах весьма напоминает систему удельного строя Киевской Руси, выросшую на той же социально-экономической базе».²

Оставляя ответственность в определении феодализма за проф. Яковлевым, разрешите сомневаться.

Лингвистические данные говорят о иных и более глубоких связях. Они раскрывают отношения далеких доисторических эпох. А история?

¹ До какой фантастики может довести стабильный подход по мышлению, можно убедиться по Яковлеву. Пытаясь определить семантику образования адыг.-черк. ḡsa hə 'слово', он приходит к выводу: ḡsa (одушевленности) hə (сосуд). — «Краткая грамматика адыгейского (кяхского) языка», 1930, стр. 49.

² Н. Ф. Яковлев, Краткий обзор и т. д., стр. 127.

Ее факты, по письменности не ранее I—II в. н. э.¹ Думается, этого достаточно.

Февраль 1933 г.

Г. Турчанинов.

А. Генко. Из культурного прошлого ингушей. Зап. Колл. Востоковедов, т. V, стр. 681—761.

Рецензируемая нами работа А. Генко представляет интерес в том отношении главным образом, что в ней снова ставятся вопросы развития горской ингушской культуры, вопросы, давно занимающие внимание кавказоведов, но, увы, все еще остающиеся без разрешения. В работе сделана сводка соответствующего фактического материала, даны библиографические справки, относительно исчерпывающие, почему она приобретает определенное значение для приступающего к изучению истории народов Кавказа. В ней же представлен обильный языковой материал, частью свежий, собранный автором на месте (стр. 683).

Справедливо замечание, сделанное на стр. 681, о недостаточности, а вместе с тем неизученности имеющихся источников. Пробелы в фактическом материале особенно дают себя чувствовать в исследовании А. Генко, поскольку здесь делается попытка дать обзор фактов, «начиная с древнейших, доступных нашему суждению времен» (стр. 711). В этой связи стоит и ряд недочетов принципиального значения. Углубляясь в культурное прошлое ингушей, автор неоднократно сталкивается не только с фактом недостаточности источников, но и с затруднениями методологического порядка, которые тем менее преодолеваются исследователем, чем менее разработаны соответствующие вопросы в кавказоведческой литературе. На стр. 681 справедливо отмечается «особый методологический интерес изучения кавказских народов». И, однако, соответствующие моменты, которые в этом отношении имели бы наиболее важное значение, в работе остаются мало или вовсе неосвещенными. В ней не в достаточной степени учтена сила действия социально-экономических факторов, определивших характер исследуемой культуры, в то время как несоразмерно большое место уделено (в частности, в вопросах о языке) «влияниям» и географической среде именно как факторам развития (см. ниже). Этот же недочет особенно дает о себе знать в части работы, относящейся к периоду экспансии русского торгового капитала на Ближний Восток и завоевания Кавказа.

И, за всем тем, исследование представляет несомненный интерес. Особо надо учесть то актуальное значение, какое приобретают в нем

¹ Имею в виду свидетельство Плиния (*Naturalis Historia*, VI, 19) и Птолемея (*Geographia*, V, 9) о пребывании сербов (*serbi*) в пределах Кавказа. Точнее, как то комментирует в своей работе словинский ученый Н. Жупанич (*Srbi Plinia ta Ptolomea*, Белград, 1924) привлечением других источников: между рр. Кирпили и Челбас и среднему течению р. Кубани, и в северной Иберии при впадении Арагвы в Куру (Мцхет). Лингвистически оно вполне достоверно.

затронутые вопросы, когда мы их берем в их связи с интересами культурного строительства, прежде всего, в самой Ингушии.

Здесь мы хотели бы высказаться по некоторым из этих вопросов с учетом как принципиального, так и справочного их значения.

За исходный пункт исследования берется ингушский язык, точнее, его лексика: именно путем ее сопоставления с лексикой ряда языков А. Генко пытается установить следы, оставленные носителями этого ряда языков в языковой, соответственно и национальной вообще, культуре ингушей. В этих видах в работе даны сопоставления ингушских слов — с «аланскими» (осетинскими) (стр. 716—724), с словами-отложениями «каких-то иных наречий» (стр. 724—727), с грузинскими (стр. 738—741), «кумыкско-арабско-персидскими» (стр. 751—760) и русскими (стр. 761). Перечень сопоставлений предваряют или заключают краткие экскурсы в область истории, либо истории материальной культуры, экскурсы, имеющие подвести базу под факты языка, вообще показать, в какой реально-исторической обстановке испытывала ингушская культура влияние той или иной культуры.

Положение об ингушском языке, о влияниях, испытанных этим языком, в работе остается наименее проработанным.

Прежде всего, еще не в достаточной мере проработаны лингвистически сами эти факты языка. Об этом говорят соответствующие оговорки А. Генко, вроде, напр., следующей, по словам самого автора, «существенной»: «этимологические сопоставления, предлагаемые в дальнейшем изложении, читаем на стр. 715, не ставят, конечно, целью обоснованное подробным лингвистическим (разрядка автора) анализом изучение ингушского языка, а имеют в виду предварительную суммарную задачу — ориентироваться в массе материала, никак почти не вовлеченного пока в научный обиход».¹ Или еще: «Мы принципиально не входим здесь в лингвистическую оценку как сложных фонетических и смысловых подробностей предлагаемых сопоставлений, так и зависящей от них степени вероятности и доказательности некоторых из сближений, довольствуясь пока утверждением очевидной, тесной, разнообразной связи» ингушского словаря с словарями осетинским, грузинским и др. (стр. 724, ср. стр. 726—727). Автор вполне мог бы довольствоваться этим утверждением, если бы вопрос о такой очевидной «тесной, разнообразной связи» этих словарей являлся бы спорным и не решался бы а priori; если бы спорным являлось положение, что «для объяснения некоторых темных, по происхождению, осетинских выражений ингушский язык может сослужить свою службу» (стр. 827), или что «ингушский язык сохраняет в себе следы длительного общения со своими соседями с запада» (стр. 747) (см. также ниже, стр. 144).

Поскольку, таким образом, в сближениях А. Генко не учтены надлежащим образом лингвистические особенности ингушской лексики, они не

¹ Надо надеяться, что автор даст современем более подробный анализ имеющегося в его распоряжении языкового материала (см. стр. 698, пр. 2).

могут дать и надежной опоры для суждения об источниках «заимствований» в ингушском. Вот почему правильное было бы воздержаться от выводов и обобщений вроде, напр., вывода, который гласит: в ингушском словаре «количество заимствований, возникших на почве культурного влияния кумыков (несших, помимо своих собственных, слова арабского и персидского происхождения), превышает наглядно все заимствования из других источников» (стр. 750—751), или что «грузинское культурное влияние на ингушей, при значительности специально церковных форм этого влияния, отразилось особым, отличным от алаано-осетинского воздействия образом на языке» (стр. 738).¹

В этой связи особое значение приобретает противоречие, которое имеет место в работе. В ней, с одной стороны, делаются обобщения именно об источниках «заимствований» в культуре ингушей, языковой и материальной; в частности, от данного ряда сближений (стр. 751—760) автор заключает к кумыкскому источнику «заимствований». С другой же стороны, соответствующее место оговорено буквально такими словами: «Слова арабские и персидские могли попадать к ингушам и иными (не-кумыкскими. — *Рец.*) путями; выделение фактов непосредственного (из книг) или посредственного (через Чечню и Кумыкию) влияния, в частности арабского языка, в большинстве случаев вполне возможное, в дальнейшем изложении последовательно не проводится, как деталь, не меняющая положения дела по существу» (стр. 751, прим.). Это замечание только подчеркивает случайный характер как сближений, так и соответствующих выводов автора. Особо приходится заметить принципиальную погрешность этой оговорки: нельзя считать «деталью, не меняющую положения дела по существу» вопрос о том, приобщались ли ингуши к мусульманской культуре исторически при посредничестве, скажем, нахчоев и кумыков, или в результате непосредственной встречи с выходцами из Бухары или Приволжья и т. д. Читатель, наоборот, имеет основание считать неоправдывающими себя сопоставления А. Генко, когда из них только о том и можно заключить, что на Кавказе (который, кстати, сам в известном разрезе представляет неотъемлемую часть мусульманского Востока) ингуши тоже оказались захваченными мусульманской «стихией», что в ингушской лексике действительно наличны «слова арабского и персидского происхождения» (стр. 751), «слова, своим существованием в ингушском языке обязанные мусульманскому вероучению», понятия, «неотделимые от арабско-мусульманской стихии» (стр. 753), «арабизмы разного рода» (стр. 754) и т. д.

Идея о языке как о «зерцале бытия» условна. И неправильно было бы из «заимствований» в области лексики непосредственно заключать

¹ См. еще стр. 754, 715, 740. Из приводимого в указанном месте лексического материала нет основания, напр., слова: атлас, амбар, журна, туман, базар, абаз, гиря, также слова, выражающие понятия: знамя, шелк, мыло, бык, обезьяна и ряд других относить именно за счет кумыкских влияний, пока эти слова не подверглись анализу со стороны семантики и фонетики. Количество таких «арабизмов» или «парсизмов» — историческое достояние целого ряда языков Кавказа, — без видимого на то основания сближаемых автором именно с кумыкскими словами, можно бы было увеличить в несколько раз.

о «заимствованиях» в области материальной культуры, или в мире понятий. Постольку же необоснованным остается утверждение А. Генко (стр. 754), что в отношении ингушей «кумыки выступали, прежде всего, как носители высшей в материальном отношении культуры. Это доказывается большим количеством слов» (см. также стр. 715 и сл.). В этой связи стоят слова: «Арабизмы разного рода проникают в (ингушскую) речь в связи с изменением, под влиянием мусульманской культуры, самого способа выражения мыслей и чувств» (стр. 754).

Из этимологических сопоставлений, предложенных вниманию читателя на стр. 715—726, вытекало бы, что ингушская культура переживала детский возраст, пока она не стала испытывать аланского влияния (а последнее, по автору, осуществлялось в пределах II—XIII вв.). По автору, ингуши впервые от алан должны были воспринять те или иные, зачастую элементарные, обломки общечеловеческой культуры, заодно и соответствующие слова, даже понятия, как-то: арба, пастух, теленок, бык кладеный, хвост бараний, забор, черный, пестрый, всадник, седло, навоз конский, помет крупных животных... козел, собака борзая, кабан, клык, мясо на языке детей и т. п. Здесь особо надо учесть богатство этого индекса слов.

Сами факты здесь используются без соблюдения исторической перспективы. То ли они факты современного осетинского языка, то ли аланского: «Мы имеем в виду алан, современных осетин», читаем на стр. 713, а в дальнейшем, где речь идет о качестве и количестве аланских заимствований (именно периода II—XIII вв.), на самом деле имеются в виду слова, общие для словарей языков современного осетинского и ингушского в их непечатом виде. Таким образом, здесь произвольно отождествляется современный осетинский с аланским.

Между тем, в научной литературе, как это известно и автору (стр. 724), только условно приемлется генеалогия, выводящая осетин от алан. Само понятие «алан» тоже условное. Об этом косвенно говорят и этнонимические названия: роксоланы, готаланы, или еще факт широкого географического распространения «алан» (ср. Аланию в западной части Юго-Кавказа).

При таком положении дела автор, понятно, не может располагать «словарем» аланского языка в особенности, когда намеренно обходит лингвистический анализ языкового материала.

В свою очередь, и те отдельные факты истории материальной культуры и вообще истории осетин и ингушей, которые предпосланы соответствующим этимологическим сопоставлениям, только могут создать видимость, что они действительно подводят базу под факты языка. Но автору дело представляется так, будто-бы остается только объяснить: почему из алан и ингушей, как заимствующих друг у друга элементы культуры, «в подавляющей массе случаев заимствующими были ингуши» (стр. 715). Объясняет же он это, принимая за критерий соответствующую географическую среду: по его схеме,

культура алан и культура ингушей должны были друг к другу относиться, как культура «равнины» к культуре «гор»; а «так как ограничены и поставлены в специфические условия скотоводческие возможности горной Ингушии», то делается заключение (там же) о том, что элементы скотоводческой культуры в ее материальной и надстроечной областях ингуши должны были заимствовать от алан, как жителей равнины. Но, во-первых, ничем не оправдывается подобное противопоставление алан и ингушей в их целом как жителей равнины и жителей гор. Неизвестно, какие объединения алан или ингушей обитали в ту древнюю пору в равнине или в горах. Затем, не поддается учету, по каким признакам проводит автор грань между скотоводческой культурой, вообще культурой «равнины», с одной стороны, и культурой «гор», с другой. Не в результате ли, спрашивается, такого именно произвольного отнесения от гор к равнине и простейших элементов общечеловеческой культуры приходится А. Генко заключить, что «в подавляющей массе случаев заимствующими были ингуши».

Еще случай произвольного районирования исторически складывавшихся культур Кавказа: со сближением названия ингушского божества тушуол с названием Тушетии А. Генко склонен утверждать, что «древнейшим, указываемым нашими источниками (?) очагом чечено-ингушского бытия была современная Тушетия, впоследствии огрузинившаяся» (стр. 710, разрядка наша). По автору, таким образом, допущение о Тушетии как историческом местопребывании культа тушуол и его почитателей — ингушей исключает мысль о том, что с ними, в тех же границах, могли сосуществовать и другие культы и их почитатели. Такая постановка вопроса едва ли не ведет к отрицанию того факта, что этнические культуры и их носители не мыслятся взаимно размежеванными по строго очерченным этногеографическим межам. Кстати сказать, не случайно, очевидно, что эту же Тушетию в самом же начале ее писанной истории мы застаем как раз с «открытыми дверьми», именно при обстоятельствах, когда в ее лоно проникают соседственные с нею различные племена. Имеем в виду тот исторический момент, когда спасавшиеся «от меча» князя и от насильственного обращения в христианство кварелы,¹ по другой версии,² пхои и «прочие во множестве горцы» «перебрались в Тошет». Этот факт нас ориентирует на ту историческую концепцию, которая как раз не позволяет так схематизировать сложные процессы движения и схождения культур, как это пытается делать А. Генко.³

¹ Е. Такайшвили. Описание Рукопис., Тифлис, 1906, II, стр. 717.

² Леонти Мровели (Картлис Цховреба, изд. Такайшвили), стр. 107. См. также Н. Я. Марр. «Кавказские племенные названия и местные параллели» (Труды КИПС, 5, Пгр., 1922), стр. 4, прим. 2.

³ Факт подобного же искусственного районирования культур и их носителей наблюдается и там, где говорится о «само собою напрашивающемся важном этнологическом выводе, что весь район Военно-грузинской дороги входил в сферу древнейшего расселения чеченских (ингушских) племен, ныне разделяющих свое пребывание здесь с осетинами и грузинами-мохевцами» (стр. 706). С принятой автором схемой согласуется и ряд других его замечаний. См., напр., слова автора о «противоречии», которое он усматривает в сведениях относительно

При таком неверном подходе к этногеографическим вопросам в работе естественно и вся культура ингушей рассматривается под углом зрения «влияний», какие ингуши исторически должны были испытывать извне, с той или иной географической стороны: с запада, с востока, с равнины смежной с Ингушией и т. д.; соответственно и язык их, в частности, представляется как сумма некоторых слагаемых — заимствований, на которые и можно его, по автору, разложить. Но такая постановка вопроса о культуре, как о продукте влияний извне, вопреки намерениям А. Генко, в сущности ведет к отрицанию самостоятельного значения этой культуры. Во всяком случае, схема А. Генко основной момент истории ингушей — национально-творческую их активность и подвижность оставляет вне поля зрения читателя. Она не стимулирует постановки вопроса о том, как взаимно перекрещивались различные культуры с ингушской, в реальности данной, как они в ней преломлялись, какая из них находила реальную почву в Ингушии, чтобы там привиться; какие классы населения к какой из культур были предрасположены и, наоборот, проникновению какой оказывали сопротивление.

О сдвиге в сторону европейской, идущей по русскому руслу, культурной ориентации читатель должен составить понятие по тому иллюстративному материалу, который предлагается его вниманию в виде следующего перечня русских слов: банка, баня, бочка, чай, счет, офицер, стол, школа, капуста, копейка, клюза и несколько других (стр. 621). «Подбор вполне случаен», читаем там же, «но для нашей цели достаточно лишь отметить этот новейший этап ингушской культуры». ... Этой оговоркой А. Генко, очевидно, хочет сказать читателю, что данный перечень слов не может, конечно, прибавить чего-нибудь существенного к нашей осведомленности об означенном сдвиге.

Работу заключает «счастливая развязка»: «... для нашей цели», говорится там, «достаточно лишь отметить этот новейший этап ингушской культуры, которому суждено, как можно надеяться, внести в ингушский культурный обиход те элементы общечеловеческой культуры, которых ей недоставало до сих пор по вине прошлого». Только автор должен был подчеркнуть, что чаяния ингушей оправдаются в путях усвоения ими не той, конечно, барабанной культуры, с которой невольно ассоциируем мы вышеперечисленные слова: солдат, патрон, офицер, медаль, суд и т. п., а культуры, подлинно общечеловеческой.

«Руссизмы» автором датируются XX в. Но в пользу переноса этой даты на более ранний период говорит ряд фактов. Ингуши, по Гюльденштедту (Reisen, СПб., 1787, I, стр. 479), в 1770 г. русскому офицеру

места жительства Хулохоевых (стр. 696), или еще о том «разъяснении» Штедера, значение которого едва ли столь важное, чтобы автору было необходимо особо подчеркивать: и без этого «разъяснения» едва ли кто буквально бы понял Буткова или Потто и заключил бы, что Заур (Дзаур?) населен был исключительно ингушами, или, наоборот, что Заур был населен исключительно осетинами, зная, тем более, что ни Бутков, ни Потто не говорят о Зауре специально как демографы (стр. 695, прим. 1).

приносят присягу верности.¹ С другой стороны, по записке С. Беляева, очевидно,² датируемой 1842 г., русские воины широко практиковали обмен у нахчоев патронов и пороха. И трудно допустить, в таком случае, уже для того времени, чтобы у ингушей могло не быть в обиходе термина офицер или патрон. Вообще об эффективности сношений ингушей с русскими еще при Гюльденштедте, очевидно, говорит его свидетельское показание (ук. соч., стр. 480), что кисты ряда округов «называют себя» «ингушцами». Здесь внимание обращает на себя именно тот факт, что еще при Гюльденштедте ингуши называют себя и «по-русски».

В лингвистической части работы замечаем и такие неправильности: из архитектурных груз. терминов 1) ჯაბო (739,23), по А. Генко, «собственно этаж», на самом деле ц.-слав. горница (Деян., 9.39; 20.8), по словарю Чубинова, «горница, комната»; 2) ჯაბუბო (ib.), по А. Генко, «потолок, гесп. ჯაბუბო», по Чуб., прил. d'étage; слово налицо, напр., в сложных словах типа სმჯაბუბო (Н. Мара, Le Synax. géorgien... = Patrol. orient., XIX, 5, стр. 102,19); ср. სმჯუბუბო треугольник; 3) ჯაბუბო, в рачинском диал. = чердак სჯუბო (В. Беридзе, Мат. по яфет. языкозн., VI), но не «потолок» (см. выше); 4) Груз. диал. ჯებნა (739,21) как раз засвидетельствовано для хевсурского (Илья Чкония, Мат. по яфет. яз., I), а ჯეოზღო სხდის (739,21) не хевсурское соответствие ჯებნა, как это показано в означенном месте, а только объясняет последнее описательным способом.

5) Слово «вишапи» привлечено как грузинское (740,23), на самом деле оно, вернее, слово «вишан», армянское; грузинское его соответствие «вешапи»; 6) грузинский язык не знает формы მზვჯვ «успех», «удача» (739).

7) Топонимическое название Гвилет (697,11), по А. Генко, известно Вахушти под названием Гвелис-тав. Но поскольку А. Генко интересуется грузинское соответствие ингушского названия gielaet (Гвилет), кстати была бы ссылка на то место у Вахушти (География, изд. Brosset, стр. 40), где сказано: «...ущелье Гелатское ჯელო ჯელათის (ср. gielaet)... ныне же называют Гвелет».

Из других принципиальной важности недочетов отметим некоторые. В работе наблюдается смешение таких двух моментов, как этническое сродство и национальное единство. Так, на стр. 684 читаем: «...если национальное самосознание коренного ингуша Хамхинского общества, называющего себя ghalgha 'галгаец', примирится, исходя из факта значительного смешения в наиболее населенной части страны, на плоскости, с причислением к себе жителей Мецхальского общества... то считать себя в ближайшем родстве (разрядка наша. — Ред.) с melxij (гесп. митхоев-

¹ См. также С. Беляев «Дневник русского солдата» etc. — Библиот. для чтения, т. LXXXIX, стр. 31—32, где засвидетельствованы косвенным путем слова офицер, солдат, генерал, как бытовавшие в чеченском языке в 40-х гг. прошлого века.

² Дело Кавказск. ком., 1852, № 473. Автор записки — он же автор «Дневника» выше, прим. 1).

цами) не согласится, вероятно никто. В устах плоскостного ингуша выражение... «он митхоевец» равнозначно словам: «он бессовестный человек». В цитированном месте, помимо прочего, невразумительно объяснение: «...примирится, исходя из факта значительного смещения» и пр., и наивная ссылка на выражение в устах обывателя: «он митхоевец».

Факт выселения ингушей из веками насиженных земель, приведшего в упадок старые очаги национальной культуры, рассматривается в свете экономо-географических условий страны, с учетом тех трудностей, какие создавали для народа горы и ущелья. Но не учтены здесь другие факторы, обусловившие миграционное движение ингушей в тот период. Имеем в виду комбинированное действие царского оружия и торгового капитала, которое приводило к разложению старых устоев и традиций, к распаду родовых объединений на «покорных» и «непокорных» и т. д. Поскольку речь идет о миграциях ингушей, здесь можно привести то показательное место из доклада Бяратинского от 25 V 1860 г. в Кавказский комитет, которое гласит: «Общество вновь покорившихся кистин... не более года (т. е. в 1858 г. — *Рец.*), как... оставило непокорных кистин и перешло в горную Тушетию и, по указанию начальства, поселилось в Панкисском ущельи» (Дело Кавказск. ком., 1860, № 185, л. 1).

По автору, исход последней борьбы за обладание Кавказом Персии, Турции и России получает свое объяснение при одном лишь внимательном взгляде на карту (стр. 681). Здесь не учтен, во-первых, тот факт, что при всем «удобстве» северных подступов к Кавказу, Россия сумела завладеть краем лишь после того, как она добилась овладения южными, которые, в свою очередь, не только доступнее были именно для противной стороны, Персии и Турции, но и находились, на протяжении столетий, в фактическом их обладании. Едва ли нужно здесь приводить известные, сюда относящиеся, факты вроде следующего: «Если показанная Хевская дорога (участок В.-Грузинской. — *Рец.*) с стороны Российской может признана быть неспособна и в пределе оной признается ж не бес трудов, однако с нашей (т. е. грузинской. — *Рец.*) стороны оную дорогу и без дальних трудов рашистить способно» (Грамоты... XVIII стол., под ред. А. А. Цагарели, СПб., 1891, т. I, стр. 437). Впрочем, и с точки зрения русского командования, как и персидского и турецкого, главным фактором успеха не являлись дефиле и ущелья. Главным фактором явились вообще интересы вовлеченных в борьбу народов и классов населения, товары, деньги и пр.

На стр. 748 приводится факт окрещения в 1834 г. в Назрани более 300 человек, по принуждению священников, назрановских мухаммеданских старшин и пристава сотника Гайтова. Этот факт в работе читателю должен показать, как «из желания дискредитировать своих соперников (в экономическом отношении) мусульмане понуждали их принимать крещение» (там же). Здесь надо было подчеркнуть другой момент, и более реально осязаемый в означенном факте, и более важный для осмысления той

обстановки, в которой протекала борьба народов Кавказа с колонизаторами, именно тот, что назрановцев теснят назрановские же старшины, действующие согласованно с русскими священниками и русским приставом.

На стр. 730 воспроизводится, по Вахушти, история жестокой битвы, которую кахи (resp. кахетинцы, они же грузины) во главе с царем Теймуразом, дали в 1640 г. дидоам, а там же дана оценка события: дидойцы, читаем мы, «еще в конце XV в. составлявшие органическую часть Кахетии, выступают перед нами язычниками — недвусмысленными врагами грузинской культуры». Здесь не место подробно остановиться на вопросах, которые перед нами возникают по данному предмету.¹ Ограничимся краткими замечаниями.

Во-первых, центр тяжести лежал вовсе не в плоскости взаимоотношений между носителями «языческой» и «грузинской» культуры. Перед участниками в битве стоял вопрос более актуального значения. Вахушти по этому поводу говорит именно: «... решил Теймураз выступить в Дидоет, чтобы отвратить их (т. е. дидоев) от язычества, а также открыть дорогу в Россию» (разрядка наша, ссылака у автора). Нужно учесть, насколько увлекались в ту пору в политической Грузии вопросом о русской ориентации, как кровно был заинтересован в сближении с Московским двором именно Теймураз, чтобы мы могли оценить все историческое значение как свидетельства Вахушти, так и самой дидойской битвы.

Во-вторых, неправильно расценивать эту битву как некоторый показатель рокового перелома в отношениях дидоев с грузинами. Жизнь не течет непрерывным потоком. Но обратимся к фактам. Тот же Вахушти в своей Географии (которую он закончил в 1745 г.) отметил следующее: дидои, соседящие с Кахетией, «подчиняются кахским патронам (მეფეებს, т. е. царям. — *Рец.*) и платят дань, но не выставляют войска. Их цель иметь доступ в Кахетию, чтобы торговать. Так как из Кахетии вывозят пищевые продукты, одежду (საბოძგებს) и все нужное (საბჭოთა ოვონთა)» (География, изд. Brosset, стр. 326). Таким образом, факт прочности экономических связей сторон засвидетельствован и для середины XVIII столетия. Этим связям не препятствовало язычество дидоев (ср. там же).²

Цитату из Вахушти А. Генко неверно передал по-русски.

Так, на стр. 730 мы читаем о том, что царь Кахетинский, Теймураз, потерпевши катастрофическое поражение в битве с дидоами, оста-

¹ Этим вопросам нами будет посвящена особая статья.

² Вообще в принципе неправильна постановка вопроса о дидоах как об «органической части Кахетии». Следует также заметить, что то место из Вахушти (История, изд. Чубинова, стр. 122), на которое ссылается А. Генко, взятое само по себе, не дает еще нужной опоры для суждения об «органическом» характере связей дидоев с грузинами в конце XV в. Там положение дела характеризуется следующими фактами, падающими на 1464—1492 гг.: 1) свергнутый с престола соискателем трона кахетинский царь Давид бежал со своими домочадцами в Дидоет, где он был принят и почтен; 2) царь же, сменивший его на престоле, не мог перенести туда борьбу в виду осложненного политического положения внутри царства; 3) только после смерти соперника Давид был привезен грузинами из Дидоет обратно в Кахетию царствовать; 4) преемником Давида был назначен в Дидоет моурав (административное лицо). Эти факты требуют специального изучения.

вивши на месте сражения ратных людей едва ли не до последнего человека, возвратясь в свое царство возрыдал, якобы, говоря: «о горе, погиб дворцовый епископ». Этот перевод, кстати сказать, совпадающий с французским неверным переводом Brosset,¹ не передает не только буквального смысла текста, но и всей трагичности положения царя, который на самом деле возопил: «о горе мне, у кого погублены (букв. истреблены) и вельможи и епископ», в тексте: *გაი ღარბაიესელ ეპისკოპოს მღვწეუკიტლსა*.² Здесь слова *ღარბაიესელ* и *ეპისკოპოს* предлежат в неформальном падеже. Соответствующие три слова, выражающие одно понятие, могут быть соединены в виде *ღარბაიესელეპისკოპოსმღვწეუკიტლსა*.³

Должны быть исправлены и следующие места в переводах автора. На стр. 742, прим. 2, сделана выдержка из грузинской грамоты 1669 г., которая в переводе А. Генко гласит:

მთიულეთსა მცირე რამ ქრისტიანობა	в Мтиули мало было христианства,
იქ	
და არც ხუცესი ⁴	ни священника, ⁴
არც ქრისტიანობა	ни паствы
და არც ნათღილების შვიდობა	ни крещеных детей
მათ არ ეწოდება	у них не имелось,
ისევ გერძის მზგავსი იყვნენ	так что были подобны язычникам.

Это место *mutatis mutandis* (см. ниже примечание) в нашем переводе будет гласить: в Мтиули было мало христианства (resp. было небольшое количество христиан) и двое священников. И то ни христианами, и ни «детьми крещения» этих христиан нельзя было бы назвать, все еще подобными язычникам были (resp. оставались).

Если в Мтиули, как об этом сказано в переводе А. Генко, и в самом деле не имелось бы ни священника, ни паствы, ни крещеных детей, то и у составителей грамоты не было бы повода утверждать, что «мало было христианства». Там же, в переводе, автор вводит лишнее слово «совершенно», меняющее смысл текста.

На стр. 710 цитируется грузинский географ Вахушти, который о тушинах из Парсманского ущелья говорит, что они «верой и языком смешаны

¹ Hist. de la Géorgie, II, p. 170: «Quel malheur! J'ai perdu mon évêque, un dignitaire de ma cour!».

² Ср. *აწილობი*, строфы 552—560 (ссылка у Brosset, Hist. de la Géorgie, фр. перев., p. 169, note 3^o) о потерях Теймураза в означенной битве.

³ Слово *მღვწეუკიტლსა* дефектное в изданиях Броссе и таким вошедшее в цитату автора (*მღვწეუკიტლსა*), нуждается в соответствующем коррективе.

⁴ По другому, более совершенному тексту грамоты (изд. Ш. Чхетиа, см. *საისტორიო მკვლევ.*, Bulletin Historique, кн. II, Тифлис, 1925, стр. 23), это место читается так: *და ორი ხუცესი* «и двое священников». Верность этого чтения бесспорна, поскольку о тех же двух священниках повторно упоминается в той же грамоте во всех ее списках (у Чхетиа, стр. 24, 11). Вообще о предпочтительности текста в означенном издании перед текстом (изд. Хаханова), каким пользуется А. Генко, см. И. А. Джавахишвили «Экономическая история Грузии», кн. I, изд. 2-е, испр., Тифлис, 1930, стр. 7 (на груз. яз.).

подобно кистам (или как кисты¹)», в тексте: სწამენიკებით და ენით შეკრულნი არიან ვითარცა ქისტნი. А. Генко переводит: «верой и языком смешаны с кистами». Но здесь с неверной передачей ვითარცა предлогом с, вм. 'подобно', 'как', меняется смысл текста: группируя тушин, географ говорит, что «те, которые обитают на стороне кистов и глигвов, лучше знают их (кистов и глигвов) языки. Парсманцы же верой и языком смешаны, подобно кистам (или как кисты¹)». Вахушти сравнением пользуется и в других местах (География, стр. 460₅, 456₈).

На стр. 705, прим. I, слова Вахушти: დურძუკ, რომელი უწარბინებულეს იყო შვილთა შორის კავკასიელთა, что в нашем переводе гласит: «Дурдзук, который первенствовал над детьми Кавказа», А. Генко переводит: «Дурдзук, самый выдающийся человек среди сынов Кавказа». Таким образом, он в своем переводе Кавказ (resp. Кавкас) — эпоним подменяет географическим термином Кавказ (в значении Северный Кавказ). А за основание для такого перевода А. Генко взял факт «колебания между формами კავკასიელს კავკასი(s), на что обратил уже внимание Броссе»... (ib.). Ш. Сеньобос, между прочим, пишет в своем месте: «Рассуждением нужно пользоваться, лишь приняв заранее все меры предосторожности, чтобы никогда не терять из виду опасности» (Ланглуа и Сеньобос «Введение в изуч. истории», стр. 201).

В данном случае А. Генко как будто неуязвим, поскольку он ссылается на акад. Броссе. Но, во-первых, он невнимательно читал место, на которое ссылается. Броссе там сопоставил формы Sawcas и Sawcasios (с учетом и формы კავკასიელთა), а не формы Sawcas и «Sawcasi (a)», как это утверждает А. Генко: у Броссе нет формы Sawcasi (a): в этой форме последнее *a* в скобках приложено к Sawcasi самим А. Генко, очевидно, с намерением выработать грузинскую форму имени Кавказ для своего перевода. Во-вторых, что особенно важно, А. Генко поверхностно пользуется текстом и нарушает правило контекста. Начальная история Грузии, которой пользуется А. Генко, на протяжении первых страниц повествует как раз о судьбах «праотцов» и их «детей»; среди них и праотца-Кавказа и его детей.

И если мы так подробно остановились на ошибочном переводе А. Генко, то это именно потому, что вопрос коснулся литературного предания об этом важном институте, родовом строе на Кавказе. Прочие подробности о Кавказе, как эпониме, интересующиеся могут почерпнуть из упомянутого выше источника.

В обзоре памятников материальной культуры значительное место уделено известному христианскому храму в Ингушии, так называемому Тхаба-Ерды (стр. 732—735). Здесь затронуты вопросы, касающиеся как самого памятника, так и истории его изучения. А. Генко имеет, конечно, основание, когда он задерживает на них внимание читателя: весьма важно, в особенности для местных работников, быть в курсе дела и о том наследии, какое получено нами от прежних исследователей древностей Ингушии.

¹ Ср. Елиосидзе «Записки о Тушетии» (ссылка у А. Генко, стр. 710, прим. 3).

Поэтому мы позволим себе остановиться на этих, интересующих автора, подробностях.

В этой части работы нельзя согласиться, во-первых, с тем утверждением, что в постановке проблемы о древности этого храма якобы все его исследователи за основание брали исключительно дату (830 г.), предложенную археологом Бакрадзе, и что решение вопроса переносится в область архитектурного и стилистического анализа памятника впервые теперь, именно в связи с постановкой, какую получил вопрос о модели храма у А. Генко. Дело в том, что А. Генко известна простая истина, что для датировки постройки свое значение имеет ее модель. А на западной стене Тхаба-Ерды как раз представлена ктиторская группа, там и модель. А. Генко известно и о существовании этой самой модели, именно по изданию Миллера (Археологические экскурсии — Материалы по археологии Кавказа, вып. I, табл. 1). А. Генко и заостряет внимание читателя на этом пункте, представляя дело так, как будто он впервые сигнализирует о соответствующем методологическом значении этой модели. Он буквально пишет (стр. 737): «...датировка Тхаба-Ерды на основании приведенной надписи (в которой Бакрадзе склонен был искать означенной даты. — *Ред.*), невозможно, и тем самым падают и все заключения культурно-исторического порядка, делавшиеся последующими исследователями на основании предлагаемой Бакрадзе даты 830 г. н. э. Решение вопроса переносится в область архитектурного и стилистического анализа памятника, который не может быть предметом достаточно полного обсуждения в данном контексте. Отметим лишь, что всеми исследователями, начиная с Миллера, не замечено самое главное в истории интересующего нас сооружения: ктиторское изображение на рельефе дает первоначальную форму сооружения крестообразного плана, тогда как наличный план — базиличный. Очевидно Тхаба-Ерды проделало существенную эволюцию основных своих форм, примеры чего хорошо известны в истории грузинского церковного зодчества».

Но здесь упущено из виду, что для исследователей храма не является спорным самый факт его относительной древности. Иначе у А. Генко не было бы повода характеризовать модель храма во взятом контексте. Что Тхаба-Ерды с течением времени в общем успело проделать существенную эволюцию основных своих форм, это, вопреки утверждению А. Генко, не осталось незамеченным и у Миллера. Так, он, имея в виду как раз ктиторское изображение, пишет (ук. соч., стр. 15): «...из модели храма, представляющей обычный тип грузинских церквей, можно заключить», что храм, ныне безкупольный, раньше имел купол и барабан. Мало того, Миллер учитывает не одно то, что непосредственно подсказывается по вопросу ктиторским изображением как оно есть. Он на стр. 13, обращаясь к той же группе скульптурных изображений, к которой относится и модель, замечает: «Плиты с изображениями человеческих фигур и с орнаментами были, по мнению местных жителей, привезены из Грузии готовыми, так как такого материала нет в окрестностях храма». Тот факт, что модель

по конструкции в корне отличается от храма, ею украшаемого, усугубляет значение цитированных слов Миллера. Тогда естественно заключить, что наш археолог, по осторожности, эту модель еще не считал надежным основанием для определения искомой даты и для соответствующих обобщений.

С другой стороны, еще не видно, чтобы указанное «мнение местных жителей» стояло в противоречии с тем свидетельским показанием Штедера (*Tagebuch einer Reise etc.*, изд. 1797, стр. 39), что скульптурные изображения, с ними и модель (*die Fassade*) стояли на месте еще при нем, Штедере (1781 г.). И «мнение местных жителей» косвенным образом согласуется с тем фактом, что в барельефе в расположении плит с надписями наблюдается отсутствие порядка: кроме того, что одна из этих плит (Миллер, ук. соч., табл. 1) вставлена в опрокинутом виде, мы явно недосчитываемся плит с продолжением фрагментарно представленных здесь надписей. Словом, есть ряд обстоятельств, которые, во всяком случае, не позволяют исследователю в решении вопроса о развитии форм храма брать за исходный пункт наличную модель, пока не доказан сам факт изначальной принадлежности модели к храму. Но А. Генко упускает из виду эти осложняющие вопрос моменты. Надо учесть и другое: что известны факты археологии Кавказа, когда модели обнаруживались совсем не на «своих» храмах и тем самым исследователя ставили перед специфически трудными вопросами. В этом отношении показательны примеры из ученой практики акад. Н. Я. Марра.¹ А в работе А. Генко сложная проблема о Тхаба-Ерды в сущности сводится к чисто теоретическому частному вопросу о возможности развития базиличных конструктивных форм (Тхаба-Ерды) из крестообразных (модель на стене Тхаба-Ерды). В этой связи, кстати сказать, автор ищет соответствующих аналогий в истории грузинского зодчества, которые бы оправдали его утверждение, что такое развитие базиличной формы из крестообразной вполне возможно. Здесь нас не интересует — насколько надежную аргументацию могут представить аналогии в подобных случаях. Любопытно, что автор в этой связи, где ему нужно поддержать это свое утверждение, однако, ссылается на пример (Атенский храм), который говорит как раз об обратном, о том, как базиличный план храма развился в крестообразный (стр. 737, прим. 1). Вместе с тем, автор затрагивает вопрос о строительном материале, использованном в постройке (стр. 795). Но Энгельгардт, на которого ссылается автор в этой связи, говорит о качестве плит, из которых сложена церковь, не останавливаясь специально на плитах, нас здесь интересующих (*Engelhardt u. Parrot, Reise in die Krum u. den Kaukasus*, I, S. 227). Таким образом, цитированные слова Миллера о материале этих плит остаются в силе, во всяком случае, пока они не проверены вновь на фактах.

С другой стороны, А. Генко неправ, когда утверждает, что, в частности, Миллер свои заключения (а какие собственно «заключения»?) делал

¹ Теперь см. Н. Я. Марр. Ани. Книжная история и раскопки на месте городища, стр. 119—120 (печатаются).

«на основании предлагаемой Бакрадзе даты 830 г.» (см. выше). Миллер указывает только, что для датировки Тхаба-Ерды «могут служить до некоторой степени вышеупомянутые надписи...» (Миллер, стр. 18). А «предоставляя», с другой стороны, «знатокам грузинской эпиграфики окончательное решение вопроса» (там же, стр. 20), он, тем самым, дает основание опять-таки считать, что для него «предлагаемая Бакрадзе дата» была еще недостаточно убедительна.

Но А. Генко, все-таки, считает, что Бакрадзе в ошибку ввел Миллера, и, чтобы предупредить, по крайней мере, своего читателя от такой ошибки, дает специальную справку о Бакрадзе (стр. 736, прим. 3), замечая, что Бакрадзе «не всегда свободен от промахов и фантазирования» (впрочем, только ли Бакрадзе, говоря вообще? — *Рец.*). Между тем, такое предупреждение читателя ничем не оправдывается. Ученый грузиновед, Бакрадзе, вовсе не считал делом чести вводить в заблуждение Миллера или читателя. Обратимся к фактам. Бакрадзе, в ответ на письмо от Миллера, последнему предоставил грузинские надписи с Тхаба-Ерды (Миллер, ук. соч., стр. 19—21) в собственном чтении, оговаривая эти надписи в ответном письме следующим образом: «Не скажу, чтобы они были сняты мною с тою точностью, с какою бы я их снял, если бы пришлось мне их видеть теперь. К тому же я списал их, рассматривая их чрез бинокль и не слезая с лошади. Вот почему снимок мой едва ли может быть вполне верным». И еще (это — главное для нашего вопроса): «Не знаю, верно ли воспроизвожу год основания церкви 830...» (там же, стр. 19). Т. е. Бакрадзе уже сам относится критически к предлагаемой им дате. И, таким образом, А. Генко взводит напраслину на Бакрадзе, когда говорит относительно «промахов и фантазирования» Бакрадзе. Что же касается общей квалификации трудов Бакрадзе, то, понятно, для того, чтобы ее давать, требуется больше осведомленности в соответствующих грузиноведческих вопросах.

Сами надписи с Тхаба-Ерды А. Генко воспроизводит по указанному изданию Миллера, т. е. со старыми же дефектами и изъянами, не внося в них после Бакрадзе нового света (стр. 736—737). Эти текстуально приводимые фрагментарные надписи, на грузинском языке, с использованием церковного (хуцур) и «военного» (мхедрул) письма, только затрудняют чтение работы для неспециалиста, не открывая в то же время никаких новых источников специалисту. То же самое надо сказать и о ряде выдержек, цитирование которых на языках оригиналов (грузинском, греческом и др.) в сущности не вызывается в работе какими-нибудь текстуальными затруднениями. За вышеотмеченным укажем и на следующие, наиболее характерные, примечания или отступления в работе, которые не существенны по своему значению и лишь перегружают, в ущерб цельности изложения, работу в целом.

1) В связи с упоминанием об Арзийском орле сказано (стр. 708, прим. 4): «относительно геральдического значения орла существует обширнейшая литература» (как будто читатель академического органа

об этом и не подозревает. — *Рец.*). А за сим читатель отсылается к Sargе и von Bergchem, как к специалистам по вопросам об изображении орла (герба) специально у мусульман. Но сам-то этот Арзийский орел давно как исчез, он нам пока не дан ни в натуре, ни в фотографии, таким образом, он вообще не может еще служить предметом геральдического исследования, постольку и ссылку на названных европейских ученых приходится считать к делу не относящейся. И, во всяком случае, своевременнее было бы, прежде всего, с точки зрения методологических установок, вспомнить здесь, как стоит вопрос в кавказской археологии о геральдическом значении изображений орлов у народов Кавказа.¹

В целом ряде случаев автор без видимой пользы для дела задерживает читателя, оспаривая то или иное несуразное толкование отдельных этно- и топонимических названий, оставляя читателя под ложным впечатлением, будто современной науке еще приходится с ними считаться.

2) См., напр., стр. 709, прим. 3: «Грузинская народная этимология видит в გუდამაყარი (Гудамакари) слова გუდა «сума» и მაყარი «свадебный дружка, шафер»; 3) на стр. 704, 1-2 текстуально воспроизведено толкование названия глигвов по Вахушти, а в примечании в 5 строк без серьезного повода доказывается, что в грузинском словаре налично слово ღიღველი; 4) на стр. 745, прим. 4 на протяжении 9 строк бичуется польский беллетрист Владислав Стршелевский за то, что он в своем рассказе (1846 г.) неумело отобразил действительность горских народов; 5) на стр. 746, прим. 1 читатель одновременно знакомится как с «воззрением ингушей на письменность, как на чудо, совершаемое христианством и мусульманством в пользу своих приверженцев», так и с «анекдотом, связанным с обращением назрановцев в мусульманство» и т. д. и т. д.

Эти и ряд других примечаний, или полностью лишних, или обремененных не необходимыми справками и ссылками (см. еще стр. 684, прим. 1 о народных этимологиях, 735, прим. 1 о «фантастическом толковании» Алборовым инг. tqhobā, 721, прим. 4 о таком же толковании тем же автором груз. ტბა, 734, прим. 1 о том, как И. П. Щерблякин отсутствию в настоящее время некогда строившихся в Грузии боевых башен напрасно удивляется и т. д.); все такие ссылки и отступления в работе, которые сплошь и рядом напоминают об элементарнейших истинах, давно известных фактах, у читателя неминуемо должны вызвать в памяти следующее, глубоко продуманное, указание Ланглуа и Сеньобос (Введение в изуч. истории, русск. перев., стр. 242): «... автор обязан предупреждать, на основании каких документов выполнена работа. К тому же достаточно иметь такт, чтобы чувствовать, что в монографии запас доказательств если и должен

¹ См. Н. Марр. Описание Дворцовой церкви в Ани (Анийские древности I). Пгр., 1916, стр. 34—35, где орел «в декоративной резьбе армян, в частности, и анийских памятниках» трактуется как «переживание геральдической символики феодальной и более древней, еще родовой Армении». — См. также И. Орбели. Путеводитель по городищу Ани (Анийская сер., № 4), СПб., 1910, стр. 21. — Ср. Марко Поло (изд. РГО, под ред. В. В. Бартольда), стр. 29: «В прежнее время здешние (подразумевается Грузия) цари рождались со знаком орла на правом плече». Ср. там же, прим. 3.

быть полным, то в то же время должен быть ограничен строго необходимым. Умеренность строго необходима; хвастовство эрудицией, сбережение которой могло бы быть осуществлено без урона для исследования, положительно непристойно». Приведем текстуально их же примечание к цитированному месту: «Почти все начинающие имеют прискорбную склонность вдаваться в отступления от предмета и нагромождать рассуждения и сведения, не имеющие никакого отношения к их главному вопросу; если они вдумаются, то поймут, что причинами такой склонности служат плохой вкус, своего рода наивное тщеславие, а иногда путаница в голове (*désordre d'esprit*)».

Кокетство перед читателем эрудицией характерным образом выразилось: 6) на стр. 682, прим. 1: «Армянская литература в целом развивалась в территориально слишком удаленных от центрального Кавказа районах, чтобы служить нам для более ранней эпохи в интересующем нас отношении. Анонимная география, приписываемая М. Хоренскому, была бы, конечно, немыслима без Птолемея, как отправной инстанции»; это пояснение в части, касающейся Птолемея, лишне, поскольку читатель уже основательно осведомлен по вопросу по трудам Сен-Мартена, Патканова и др. 7) см. еще стр. 711, прим. 3, где, ссылаясь на один вариант «Обращения Грузии», А. Генко поясняет: «Соответствующее сведение утрачено (неприменно ли *утрачено*? — *Рец.*) к сожалению в древней Шатбердской версии X в.», а за сим читатель отсылается без прямого повода к специальным изданиям, где представлены соответствующие тексты. Для кого же, спрашивается, между прочим, потрудились крупнейшие специалисты по вопросу И. А. Джавахишвили и К. Кекелидзе? Не может же и сам автор обходиться без посредствующих источников! 8) на стр. 727, прим. 4, мимоходом касаясь сложнейшей проблемы об авторстве Леонтия Мровели (нач. XI в.) А. Генко пишет: «Новейшая оценка его труда у Кекелидзе... страдает гиперкритицизмом», т. е. А. Генко применяет критические приемы к таким фактам историко-литературного порядка, которые, конечно, не могут быть подсудны автору без должной эрудиции (ср. его ошибки, нами исправленные выше, стр. 150—152).¹

Впрочем, мы можем ограничиться уже изложенным. Точно так же мы не будем возвращаться к таким экскурсам в работе, которые не приводят к разрешению затрагиваемых там вопросов. Имеем в виду, в частности, попытку автора (стр. 711—717), с одной стороны, отождествить названия искомого древнего города Варачана и Парчуанских (Վարչանք) ворот и, с другой стороны, установить тождество того же Варачана с Ассинскими воротами. Для такого их отождествления еще недостаточно тех сведений, какими А. Генко располагает.

¹ На стр. 708: воспроизведя до нас дошедшую арабскую надпись на груди Арзийского орла в чтении акад. И. Ю. Крачковского, «любезно согласившегося высказать свое мнение» о ней, А. Генко там же замечает от первого лица: — «Не вдаваясь здесь в эпиграфические подробности (надписи), отметим важность «приведенной датировки» и пр. Но здесь, очевидно, дело имеем с погрешностью редакционного порядка. Очевидно, А. Генко здесь указывает, что акад. И. Ю. Крачковский (а не А. Генко) не нашел нужным вдаваться в эти эпиграфические подробности.

Показательно в этом отношении, что акад. Бартольд (Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира, Баку, 1925, стр. 26), интересовавшийся вопросом о местонахождении Варахана, ограничился лишь указанием на разноречивость мнений, какие высказывались по этому поводу.

Все вышесказанное мы можем заключить следующим: выбрав для своей работы не точно сформулированное заглавие — Из культурного прошлого ингушей — А. Генко и до конца исследования остается в том невыгодном для всякого автора положении, когда исследователю приходится орудовать с материалом, не держа в поле своего зрения главного предмета исследования.

С одной стороны А. Генко определенно намечает себе, правда, далеко не оправдывающую себя, «предварительную суммарную задачу ориентироваться в массе материала, никак почти не вовлеченного пока в научный обиход» (см. выше, стр. 143), с другой же стороны, вдается в сложнейшие вопросы о путях исторического развития культуры ингушского народа. И суть дела не в самой этой невыдержанности сформулированной им задачи. Суть заключается в том, что, сводя, с одной стороны, свою «предварительную суммарную задачу» к весьма поверхностным и случайным этимологическим сопоставлениям, с другой он, на основе этих самых, далеко не достаточно проработанных сопоставлений стал возводить нечто вроде исторического здания. Это обстоятельство делает его умозаключения, нами попутно затрагиваемые выше, и вообще всю его схему несостоятельными.

Обобщения в работе обрекает на неудачу негодность метода, какой в ней применяется. Выше указано, что А. Генко на протяжении всего исследования цепко держится за «влияния» и «географическую среду», как факторы, будто-бы определившие характер движения ингушской культуры в целом. В результате главный фактор развития исследуемой им культуры, творящий собственными руками свою историю народ-носитель этой культуры, остается в работе в густой тени.

Читатель до последней страницы работы остается под тем неизменным впечатлением, будто бы пассивная роль ингушского народа могла сменяться на активную лишь в тех случаях, когда он или передвигался в географическом пространстве (миграции), или сражался с неприятелем, а культурное строительство его ограничивалось тем, что он, ингушский народ, по А. Генко, как некоторая однородная масса с одинаковыми страстями, одинаково впитывал в себя все те культуры, какие только создались в соседстве.

Таким образом, в ущерб всей работе в целом, из общей программы вопросов,¹ А. Генко заведомо исключил кардинальные вопросы: о классах населения, о национальном, местном творчестве, о самобытности языка, о вкладе ингушей в культуру соседей и т. д. Конкретные замечания по этому поводу мы делали выше.

¹ О программе вопросов см. Ланглюа и Сеньобос, цит. соч., стр. 186 и сл.

Такой изъясн questionnaire А. Генко делает то, что исследователь фактически оказывается за сизифовой работой.

На 5-ти с лишним печатных листах А. Генко привлек немало фактического разнохарактерного материала, в конечном счете, с намерением очертить национальное лицо ингушской культуры. Автор в одном месте замечает многообещающе и не без претенциозности (стр. 682 и прим. 2): «Признак, по которому они (т. е. ингуши. — *Рец.*) выделяются в науке из массы своих соседей — их ингушский язык, основной, с точки зрения этнической классификации, хотя и не единственный для нас, признак деления».

А привлекаемые в работе факты остаются в главной своей части вне связи с обобщениями, в ущерб, конечно, как последним, так и смыслу самих фактов.

В результате, в частности, неясным остается для читателя даже вопрос — успели или нет ингуши в эпоху промышленного капитализма стать нацией, или остались при родовом строе. Толкуя о национальном самосознании, А. Генко, однако, сбивается на патриархально-родовые воззрения и т. д.

В общем расположении фактов и явлений не соблюдена методическая последовательность. Не выдержан взятый А. Генко хронологический принцип их группировки, почему весьма затруднительно следить за развитием рассказа и, в особенности, мыслей автора. Факты истории XVIII—XIX вв., излагаемые на стр. 681—702, в дальнейшем сменяются такими ранней истории, а со стр. 711 изложение продолжается, «начиная с древнейших времен» и т. д.

Научная аппаратура не в меру перегружена маловажными справками. Пространные отступления автора тоже содействуют тому, что читатель затрудняется уловить главный предмет исследования (см. выше, стр. 155 и сл.).

О фактических погрешностях работы, мы, как это нам представляется, тоже достаточно подробно говорили.

Остается только вернуться к нашему исходному пункту и заключить, что изложенные выше нами обстоятельства не лишают, конечно, исследование его значения полезной и даже, мы бы сказали, необходимой для будущего исследователя работы. Эти вышеизложенные обстоятельства говорят только о том, что работа, выполненная небрежно, а в известной части и с недостаточным знанием дела, изобилует ошибками, не говоря уже о том, что вопросы, затронутые в ней, не разрешены, что воз, увы, и ныне там.

В. Дондуа

Считаю нелишним дополнить рецензию В. Дондуа некоторыми замечаниями по поводу осетино-ингушских лексических параллелей, которым в работе А. Генко уделено много места (стр. 715—727). Приводимый

автором материал представляет бесспорный лингвистический и культурно-исторический интерес. К сожалению, известная хаотичность, характеризующая всю работу, сказывается и в этой части. Материал расположен как попало и трудно обозрим. Классификация слов по рубрикам, которую пытается проводить автор, создает только видимость порядка, так как принципы, по которым слова попадают в ту или иную рубрику, очень часто не поддаются пониманию. «Ярый» и «сумасшедший» фигурируют в рубрике «лошадь» (716). «Зоб» оказывается в «птичьем царстве» (?), а «мокрец» в «прочей фауне» (??) (717).¹ «Гребень горы» и «родник» рекомендуются читателю, как «термины, применимые по самому понятию своему лишь к обстановке равнины» (??) (717). К «сфере социальных отношений» относятся, по мнению А. Генко, «вялый» и «теплый» (??) (721). Что касается «круга понятий положительных» (721), то тут вообще невозможно понять, о чем собственно идет речь. Я не берусь объяснить, как допустил автор такие непонятные lapsus'ы. В лучшем случае приходится думать о крайне поспешной и неряшливой работе.

При оценке лексических сопоставлений по существу приходится считаться с предваряющими замечаниями автора (715). Как можно заключить из этих замечаний, значительная часть сближений сделана наудачу, и автор снимает с себя ответственность за их научную основательность. Критиковать автора при этих условиях значило бы ломиться в открытую дверь. Однако, поскольку лишь некоторые сближения сопровождаются вопросительным знаком, быть может уместно указать, что среди сближений, данных без знака вопроса, многие несколько не благополучнее тех, сомнительность которых подчеркнута самим автором. В особенности приходится отметить искусственность и натянутость предполагаемых автором семантических переходов.

Совершенно не убедительны, напр., такие сопоставления, как:

- инг. *nux* 'плуг' — ос. — *nux* 'ноготь' (717),
- инг. *živt* 'кукурузная мука' — ос. *дзугур* 'мучнистый' (718),
- инг. *khomæl* 'конопля' — ос. *гән id.* (718, сконструированное автором ос. *гәмб* представляет *Wortgespenst*, так как *гәмбі* образовалось из *гән+бі*),
- инг. *bæzæ* 'строевой лес' — ос. *бæззаг* 'годный' (718),
- инг. *bærcqhæ* 'платье, белье' — ос. *бәрцафудтæ* 'карманы для газырей в черкеске' (719),
- инг. *ghuoz* 'перстень', 'кружок, компания' — ос. *qæbvc* 'объятие' (721),
- инг. *lærbæq* голенище — ос. *ўæраг* 'колено' (720),
- инг. *äq* 'доносчик' — ос. *æлб* 'брезгливость' (720),
- инг. *somæ* 'бодрый, здоровый' — ос. *сом* 'утро' (722),
- инг. *sijg* 'искра' — ос. *суг* в *рæсуг* 'прозрачный' (723),
- инг. *dærgz* 'дождь, пополам со снегом' — ос. *дæрзæг* 'шероховатый' и др.

¹ Не путает ли автор «мокрец» (болезнь копыт у лошадей) с «мокрицей» (насекомое)?

Эти и подобные сопоставления, сделанные наудачу и без какого-либо определенного семантического или фонетического критерия, не имеют, конечно, никакой цены и только разжижают те немногие, действительно верные и интересные соответствия, которые мелькают там и сям.

Для целей автора очень важно установить, откуда идут общие элементы, из осетинского или ингушского. Как же разрешает А. Генко этот вопрос? На стр. 715 читаем: «В подавляющей массе случаев заимствующими были ингуши». Мы ждем доказательств, но их нет. Между тем существуют твердые, бесспорные, объективные лингвистические критерии заимствования, хорошо известные, разумеется, автору: этимологические, фонетические, семантические. Автор не прибегает к ним ни разу, предпочитая заслониться ссылкой на «общую обстановку, в какой шло здесь культурное развитие» (715). Считая, что «общая обстановка» избавляет его от основательного лингвистического анализа, автор не учел однако естественного недоумения, которое должно явиться у читателя: что же, чем доказываается «общая обстановка», языковыми влияниями или языковые влияния» общей обстановкой? Дело историков Кавказа разобраться в этой «обстановке» и выяснить, насколько солидная база под утверждениями автора о влиянии «алан» на «горцев» и даже о «зависимости» последних от первых (721). Но что касается лингвистического материала, то в том виде, как он подан автором, он с совершенно таким же правом может быть привлечен для доказательства противоположного тезиса: о влиянии ингушского на осетинский.

В. Абаев

Linguistic science in the nineteenth century. Methods and results. By Holger Pedersen... Authorised translation from the Danish by John Webster Spargo. Cambridge. Harward University Press, 1931, 5.

Если не считать очерков по истории языкознания в общих работах по лингвистике, то по истории языкознания имеются всего три работы: Th. Benfey. *Geschichte der Sprachwissenschaft und Orientalistik in Deutschland*. München, 1869; B. Delbrück. *Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen*. 6-te Aufl. Leipzig, 1919. (1-е изд. под названием «*Einleitung in das Sprachstudium*»). 1880 г. и V. Thomsen. *Geschichte der Sprachwissenschaft bis zum Ausgang des XIX Jahrhunderts*. Halle, 1927 (перевод с датского издания 1902 г.). Все эти книги, кроме книги B. Delbrück'a, значительно устарели, поэтому вполне понятно, как сильно назрела потребность в новой работе по истории языкознания.

Рецензируемая книга, являющаяся переводом с датского издания 1924 г. с небольшими дополнениями (см. предисловие), распадается по своему содержанию на:

Введение, в котором дается суммарный обзор истории языкознания (стр. 1—13), и 8 разделов:

1. История изучения санскрита и иранских языков (стр. 14—29), 2, 3, 4, 5. История изучения других индоевропейских языков (стр. 30—98). 6. История изучения не-индоевропейских языков (стр. 99—140). 7. Надписи и археологические открытия. История письма (стр. 141—239). 8. Метод сравнительного языкознания (стр. 240—310). 9. Языковое родство индоевропейцев, их родина и культура (стр. 311—340).

С внешней стороны книга издана прекрасно, снабжена портретами крупнейших лингвистов и двумя указателями: *General index* и *Index of words*, причем в первом из них приводится дата жизни упоминаемых в тексте лингвистов.

Содержание книги не совсем соответствует ее заглавию, так как автор часто делает экскурсы в литературу уже XX в. Установка книги и характер экскурсов таковы, что невольно вызывается предположение, не ограничился ли автор XIX в. потому, что считает, что в языкознании XX в. нет ничего нового и оно твердо стоит на завоеванных им в XIX в. позициях.

Одним из весьма существенных недостатков книги является крайняя скудость библиографическими сведениями. Не намереваясь указать на все недостающие библиографические данные, приводим только как иллюстрацию, что нет даже указаний на имеющуюся литературу по истории языкознания, как почти нет ссылок и на общие работы по языкознанию. Упомянув имена, автор в большинстве случаев не указывает работ. По латинскому языку нет ссылок на имеющиеся словари, нет даже указаний на этимологический словарь Walde. В главе, посвященной греческому языку, нет упоминания о словаре Boisacq'a. По романским языкам не упоминаются работы Meyer-Lübke, словарь Körting'a и т. п.

Еще хуже, если это возможно, обстоит дело с не-индоевропейскими языками, напр., в истории изучения грузинского языка нет имен Brosset и акад. Н. Я. Марра; в истории изучения северо-кавказских языков не упоминается имени Услара. Тщетно добивался бы читатель узнать из книги Н. Pedersen'a хотя бы самую основную грамматическую и лексикологическую литературу по баскскому языку. Так же плачевно обстоит дело и с другими языками. Исключение сделано лишь для кельтских языков, крупнейшим специалистом в области которых является автор, и отчасти для греческого языка. Такой недостаток библиографии составляет значительный минус для книги, предназначенной для ознакомления с языкознанием широких кругов интеллигенции.

Другим большим недостатком книги является полное отсутствие истории сложения грамматики, что имеется во всех перечисленных выше работах по истории языкознания. Читателю было бы полезно и интересно узнать, что в построении грамматики мы стоим почти целиком на позиции древних греков, от которых заимствована и грамматическая терминология, весьма часто озадачивающая своей непонятностью, иногда даже и абсурдностью. Читателю полезно и интересно было бы узнать, что грамматика, созданная для греческого языка при уровне лингвистических знаний древнего мира,

навязывается теперь всем языкам без исключения, ценою искажения их подлинной структуры.

Большое достоинство книги в том, что автор ввел в нее историю дешифровки различных систем древней письменности и историю письменности народов, игравших наибольшую роль в истории, чего до сих пор не было в имеющихся работах по истории языкознания. Но автор стоит здесь на старой традиционной позиции — обходя молчанием все расхождения с нею, греки заимствовали письмо от финикийцев, а от греков — другие народы, и совершенно обходится молчанием имеющееся мнение о происхождении европейского письма из критско-микенского мира; следовало бы упомянуть хотя бы о работе Evans'a, *Scripta minoa*. Вообще о письме до-эллинской Греции в книге совершенно не упоминается. Попутно отметим, что автор совершенно не учитывает то величайшее значение, которое имела для Греции критско-микенская культура: так, говоря о Гомере, он считает лишним даже упомянуть о ней, а без культуры до-эллинской Греции Гомер непонятен, и греки представляются таким же необъяснимым чудом, каким они казались и считались до открытия путем раскопок великой цивилизации до-эллинской Греции.

Говоря о языках Малой Азии и Кавказа, автор слишком смело для такого крупного ученого, каким он является, решает вопросы, выходящие за пределы его научной компетенции: совершенно не зная кавказских яфетических языков, что с полной очевидностью явствует из соответствующих мест книги, он решительно заявляет: «Some investigators are so liberal as to turn them all (ряд языков с клинообразным письмом, как языки ванский или халдский, митанни, шумерский. *С. В.*) over to the Caucasian family; but justification for this generosity has not yet been advanced» (стр. 150). На основании каких данных автор утверждает относительно взаимоотношений между северо-кавказскими и южно-кавказскими яфетическими языками: «But at least it seems certain that the relationship between the two is as close as that between Samoyed and Finnish or between Mongolian and Turkish» (стр. 115—116)? О знании им южно-кавказских языков можно судить хотя бы по его высказыванию, что «South-Caucasian consists, strictly speaking, of but one language, Georgian, with its dialects» (стр. 115). На самом деле, южно-кавказская группа яфетических языков состоит из четырех языков в полном смысле этого слова: грузинского, мегрельского, чанского и сванского, что давным-давно было доказано акад. Н. Я. Марром. Точно так же совершенно неверно, что восточные языки Северного Кавказа значительно древнее западных (стр. 114). Сведения автора по кавказским языкам столь недостаточны, что все восточные северо-кавказские языки он классифицирует на 2 группы — чеченскую и лезгинскую (стр. 114), упустив из виду аварский язык, бывший *lingua franca* чуть ли не всего Дагестана.

Целью нашей рецензии является, однако, не оценка достоинств или недостатков книги в учете изучения отдельных языков. Моменты в оценке соотношений между яфетическими языками приводились нами лишь как

иллюстрации слишком смелых, основанных на недостаточном знании материалов, суждений автора. Это, кроме того, является показательным потому, что в вопросах современного общего языкознания яфетические языки играют чрезвычайно важную роль и имеют громадное значение в разрешении важнейших вопросов лингвистики благодаря открытиям, сделанным в этой области акад. Н. Я. Марром. Современным лингвистам все чаще и чаще приходится обращаться взоры к яфетическим языкам, как обращается к ним и сам Н. Pedersen при разрешении проблем, связанных с населением Европы в древнейшие времена.

Оценка изучения отдельных языков определяется установками в области общего теоретического языкознания, и потому центральный интерес книги Н. Pedersen'a представляет раздел, посвященный «Methods and results of comparative linguistics». В этом разделе нам придется остановиться только на первой его части, языкознании до 70-х годов, т. е. до начала господства школы младограмматиков, так как, начиная с этого времени, автор перестает быть историком общего языкознания, а рассказывает только об успехах в области изучения индоевропейских языков, вернее, изучения фонетических соответствий между ними, совершенно уже не касаясь языков других систем. Это уже само по себе определяет установку автора, не замечаящего, что изучение фонетических отношений *индоевропейских языков* не может заменить общего языкознания, так же, как и его результатов, а между тем раздел носит название «The Methods of comparative linguistics». Такая подмена общего языкознания языкознанием индоевропейским лишний раз доказывает, что подлинного общего языкознания нет, и является характернейшей особенностью господствующего течения современного языкознания, которое и названо поэтому акад. Н. Я. Марром индоевропейским.

Установив два основных положения сравнительного языкознания — учение о незнающем исключений фонетическом законе (стр. 240) и установление родства между языками на основании схождений в морфологии (inflectional system, стр. 240), автор объясняет, почему научное языкознание могло возникнуть только на изучении индоевропейских языков в XIX в., хотя положение о принципе определения родства языков высказано было еще в XVIII в. и было даже применено еще в 1799 г. к финно-угорским языкам. Оказывается, что только индоевропейские языки могли послужить таким материалом вследствие их древности, их разнообразия при бесспорном, однако, сходстве между ними и, кроме того, они легко привлекали к себе внимание, так как были родными языками для тех, кто были и являются в настоящее время лидерами цивилизации (стр. 241—242). Этим последним Н. Pedersen открыто признает то, что возбуждает негодование индоевропейцев, когда на это указывает акад. Н. Я. Марр; Н. Pedersen же считает это вполне естественным явлением и не видит в этом ничего плохого.

Свой взгляд на сущность языка автор высказывает, когда, говоря об отсутствии учения о фонетическом законе, замечает: «In this period no one

attained any clear idea of the life and development of language» (стр. 242). Таким образом жизнь и развитие языка сводятся им к фонетике. Нигде на протяжении всей книги перед автором не встает вопроса о том, что же является причиной звуковых изменений: их искали и ищут другие индоевропейцы, и до сих пор еще не нашли. Вопрос о значении семантики в языке, об отношении его к мышлению и социальной среде не встает перед автором. С этих позиций автор и рассматривает роль отдельных представителей общего языкознания.

Переходя к истории языкознания в XIX в. до 70-х годов, мы не можем не отметить одной знаменательной особенности — имя В. Гумбольдта в нем совершенно не фигурирует. Его имя встречается только как имя автора *Kawi-Sprache*, доказавшего родство индонезийских языков с полинезийскими и установившего, что баски занимали некогда более обширную территорию, чем в настоящее время. Это все, что автор может или находит нужным сказать о В. Гумбольдте. Но так как трудно, конечно, предположить, чтобы автор не знал хотя бы его знаменитого «Введения» к *Kawi-Sprache*, факт этот можно объяснить только тем, что Н. Pedersen не признает за ним никаких заслуг в области теоретического языкознания. Это вполне согласуется с установкой автора, с сведением им языка к фонетике. Этим же можно объяснить, что из книги ничего нельзя узнать, что писал Ф. Шлегель в своей «*Über die Sprache und Weisheit der Indier*», книге, сыгравшей громадную роль в истории языкознания. Не узнаем мы из работы Н. Pedersen'a, кому первому принадлежит морфологическая классификация языков по трем типам — аморфному, агглютинативному и флективному — имя А. В. Шлегеля упоминается только в качестве имени лица, впервые серьезно поставившего изучение санскрита вне Англии.

По обычаю всех северных лингвистов, Н. Pedersen придает исключительное значение в развитии языкознания Rask'у, доказывая, что в целом ряде положений он предвосхитил Боппа и Гримма. В заслугу Ф. Боппу автор вменяет проведение им на практике принципа установления родства между языками на основании соответствий в морфологии. Но большой грех Боппа он видит в непонимании им роли фонетического закона и допущении немотивированных исключений из него. Другой большой грех Боппа в том, что конечной целью лингвистического исследования он считал проникновение в тайну происхождения грамматических категорий и флексии, хотя его зрелой работе «*Vergleichende Grammatik*» это, по мнению автора, и не принесло серьезного вреда, так как Бопп руководился здесь больше фактическим материалом, чем предвзятой теорией (стр. 258). Таким образом Н. Pedersen отмежевывается еще от одного «заблуждения» в языкознании — стремления исследовать происхождение грамматических категорий. Что было бы, еслибы Бопп занимался еще проблемой происхождения языка? «К счастью» он сознательно отказался от этого.

Я. Гримм трактуется традиционно как основоположник исторической грамматики, и автор, подробно останавливаясь на его учении о перебое

согласных, излишним считает сказать что-нибудь о воззрениях Гримма на язык, хотя бы о его мнении о причинах перебоя в германских языках.

Указывая на все большее признание фонетического закона последующими лингвистами, автор подробнее останавливается на Шлейхере. Большой его заслугой он считает достаточно строгое учтывание им фонетического закона и строгое доказательство принадлежности к индоевропейской семье ряда языков, справедливо указывая на его увлечение реконструкцией праязыкового состояния. Но, странным образом, автор обвиняет только Шлейхера в том, что он считал всерьез язык организмом и утверждал, что развитие языка имеет место только в доисторическую эпоху, в исторические же эпохи язык деградирует, между тем, как Н. Pedersen'у, без сомнения, очень хорошо известно, что здесь Шлейхер довел лишь до кульминационного пункта то, что говорили его предшественники о развитии и деградации языка. Укажем мимоходом, что Шлейхер недостаточно понял, что Шлейхер имел в виду деградацию лишь языковой формы и видел в этом прогресс человечества, так как благодаря этому дух освобождается от связывающих его форм. Что касается учения о языке, как организме, то оно, до известной степени, тесно связано с признанием фонетического закона, и сам автор, придерживаясь его строгого признания, не осознавая этого сам стоит на позиции учения о языке, как организме, независимом от говорящих на нем, и развивающемся совершенно независимо. Не лишнее еще отметить, что автор упустил одну черту, характеризующую языкознание до 70-х годов и особенно Шлейхера, именно, своего рода учение о единстве глоттогонического процесса, проявляющееся, правда, в довольно примитивном виде, в учении о прохождении языком трех стадий развития — аморфной, агглютинативной и флективной. Это учение не имеет ничего общего с учением Яфетидологии о единстве глоттогонического процесса, но все же оно трактует язык как единое целое, чего, к сожалению, совсем нет в современном индоевропейском языкознании.

Новый период языкознания начинается с младограмматиков и характеризуется утверждением учения о фонетическом законе, не знающем исключений, и неразрывно связанном с ним учением об аналогии, а вместе с тем о качественном единообразии языка на всех стадиях его развития. Здесь автор, всецело присоединяясь к этому, весьма подробно останавливается на достижениях в области фонетики индоевропейских языков, тщательно обходя все другие вопросы, и перестает, как уже говорилось, быть историком общего языкознания.

Отметим лишь один характерный факт — имя основоположника социологической школы F. de Saussure'a фигурирует только в качестве автора «*Mémoires sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes*».

Следуя традиции индоевропеизма, автор в последней главе ставит вопрос о родине и культуре праиндоевропейцев и, как и следовало ожидать, приходит к ответу, что об этом ничего неизвестно.

Резюмируем: рецензируемая книга является апологией господствующего направления современного языкознания, апологией, возводящей в идеал самые слабые его стороны, апологией фетишизации фонетического закона, подмены языка фонетикой, подмены общего языкознания фонетикой индоевропейских языков, апологией именно тех сторон индоевропеизма, которые завели его в тот тупик, в котором он теперь находится. Читая книгу, можно подумать, что совершенно не существуют и никогда не ставились проблемы о сущности языка, об отношении между языком и обществом, об отношении языка и мышления, о движущих силах в развитии языка. Автор, повидимому, вполне удовлетворен состоянием ведущего направления современного языкознания, и для него не существует «проклятых вопросов» в этой области. Здесь не может служить оправданием, что автор говорит о языкознании в XIX в., — как уже указывалось, он часто ссылается и на литературу XX в. и, кроме того, совершенно не говорит о тех задачах, которые языкознание XIX в. оставило для разрешения XX веку.

С. Быховская

Joh. Friedrich. 1) Beiträge zu Grammatik und Lexikon des Chaldischen, §§ 1—5. Caucasica, Fasc. VII, Leipzig, 1931, SS. 53—86; 2) Beiträge zu Grammatik und Lexikon des Chaldischen, §§ 6—10. Caucasica, Fasc. VIII, Leipzig, 1931, SS. 114—150; 3) Zur urartäischen Nominalflexion. Zeitschrift für Assyriologie, N. F. VI, Heft $\frac{3}{4}$, Dezember 1931, SS. 264—288; 4) Zum urartäischen Lexikon. Archiv Orientalni, vol. IV, № 1, April 1932, Praha, SS. 55—70.

Изучение халдского языка древнего Вана переживает за последние годы коренную перестройку. Прежнее чтение текстов, предложенное еще в 1882 г. недавно скончавшимся английским ученым А. Н. Sayce, перестало удовлетворять его последователей, стремящихся к дальнейшему углублению исследовательских штудий над языком не семитической системы речи.

Неудовлетворенность условною во многих местах интерпретациею наиболее ярко сказалась в работах крупнейшего халдоведа Запада С. F. Lehmann-Haupt, вовсе отказавшегося от перевода публикуемых им текстов в Corpus Inscriptionum Chaldicarum. По его словам «bei dem heutigen Stande der Forschung ist eine durchgehende Übersetzung der Texte in den meisten Fällen ausgeschlossen und gehört daher nicht zu den Aufgaben des Corpus». Халдоведение оказалось в тупике без устойчивости почвы для чтения, констатированной в 1928 г. приведенными словами немецкого специалиста.

Все же в ближайшее время появились попытки к выходу из создавшегося положения, и наибольшая в этом отношении заслуга принадлежит несомненно лейпцигскому профессору Joh. Friedrich. После неудавшихся шагов М. Церетели и А. Götze, предложивших новый перевод аннала Сардура и стелы Келишина без достаточного понимания структуры

речи,¹ Joh. Friedrich сумел выправить основные их недочеты и в то же время развить правильные их указания на коренное отличие переходного и непереходного глаголов. Рецензируемые работы J. Friedrich с этой стороны открывают новую эру, выдвигая ряд вопросов, доселе неулаживаемых старым слишком шаблонным переводом.

Все четыре работы последовательно развивают основную проблематику, подводя итоги для предстоящей сводки заново строяемой грамматики. С полным знанием литературы и прекрасным усвоением эпиграфического материала J. Friedrich выявляет свой взгляд на лексику и морфологию изучаемого им языка, уточняя семантику слов и устанавливая характерные отличия фраз в зависимости от переходности и непереходности заключенного в них глагола.

Первоклассный специалист в области ассириологии и хеттологии J. Friedrich мог использовать свой опыт широко образованного лингвиста и вне сомнения умело подошел к анализу халдской речи. Но, ясно осознавая обособленное ее положение среди других ему известных языков и ничуть не отрицая принадлежности ее к числу языков кавказской группы, J. Friedrich натолкнулся на одно, пока не преодоленное им препятствие, на собственное незнание кавказских языков. В результате пришлось изучать халдский язык внутри его самого, в связи с чем немецкий ученый не смог выйти за рамки узкого формального анализа. Поэтому, без объяснения причин и с одним лишь констатированием факта приводятся такие положения, как совпадение по форме именительного падежа с винительным, родительного с дательным, различие падежных окончаний субъекта при переходных и непереходных глаголах, совпадение местоименного суффикса 3-го лица с окончанием падежа и т. д. Кроме того, ограничив себя анализом формы и подходя к халдскому языку с обычным его статичным пониманием, немецкий ученый не уловил наличия в текстах двух различных структур переходного глагола и смешал воедино нормы двух действующих языков, достаточно ярко выявляемых хотя бы по надписи Мхер-Капуси, дважды повторяющей один и тот же текст с различием глагольного в нем оформления. Не учтенным осталось и характерное для кавказских яфетических языков противоречие пассивности и активности фраз и глаголов, отмеченных автором лишь в одном месте без органической увязки с самим халдским языком.

J. Friedrich не может быть брошен упрек в игнорировании наших работ. Наоборот, он проявляет полную в этом отношении осведомленность и точное их цитирование. Но сама основа проводимой Н. Я. Марром коренной перестройки лингвистического исследования осталась непонятой. Впрочем, причина этому коренится не только в невозможности привлечения кавказских языков, пока неизвестных новатору халдоведения, но и в отсутствии наших собственных сводных работ, дающих новый анализ речи на конкретном его обосновании фактами халдского языка. Моя собственная

¹ См. мою рецензию на работу М. Церетели «Die neuen haldischen Inschriften König Sardurs von Urartu. Зап. Колл. Востоковедов, т. 14, 1930, стр. 255 сл.

сводная работа «Халдоведение» (Баку, 1927), хорошо известная J. Friedrich, в данном случае подспорьем служить не могла. Построенная на старой схеме Сэйса, она сама ушла в область истории, опрокинутая новыми работами того же Joh. Friedrich.

И. М.

Всеволод Ф. Миллер. Осетинско-русско-немецкий словарь. Под редакцией и с дополнениями А. А. Фреймана. Т. I—II, Л., изд. Акад. Наук, 1927—1929.

К 200-летию Академии Наук в 1926 г. решено было наряду с другими посмертными работами академиков издать также осетинский словарь Всева. Миллера. За редактирование словаря взялся проф. Фрейман. Пишущий эти строки вместе с некоторыми другими студентами-осетинами был также привлечен к работе. На первых же занятиях с Фрейманом мы с удивлением и тревогой заметили, что редактор совершенно не знает языка. Мне неизвестно, знали ли об этом в Академии, когда поручали ему эту ответственную работу, но что касается самого Фреймана, то он то разумеется прекрасно это знал и взялся за дело с откровенным расчетом на то, что «живые носители языка» будут ему давать «сырье», а он, Фрейман, будет это сырье «обрабатывать» (известный принцип колониальной экономической политики, перенесенный в науку).¹ «Живые носители», действительно, горячо откликнулись на призыв. Северо-Осетинский и Юго-Осетинский институты краеведения, справедливо считая издание словаря большим культурным делом для всей Осетии, мобилизовали свои силы на помощь Фрейману. Лучшие знатоки языка впряглись в работу. Материал рос не по дням, а по часам. Объем словаря удвоился и утроился по сравнению с тем, что оставил Всева. Миллер. Богатая фразеология оживила сухость лексического материала. Так обстояло дело с «сырьем».

С «обработкой» было хуже. Медлительность печатания превзошла самые мрачные ожидания. Юбилейные торжества 200-летия давно отзвучали, а типография едва выпустила первый том (из трех). Словарь не закончен и по сей день. Пессимисты говорят, что третий том поспеет как раз к следующему, 300-летнему, юбилею Академии... Чем объяснить такие блистательные темпы? У нас охотно ссылаются в таких случаях на технические затруднения. Но они стали тормозить работу только в последнее время. В первые годы вина крылась главным образом в своеобразном положении, в каком оказался редактор. «Своеобразие» это заключалось в том, что эти годы стали для Фреймана годами учебы, когда он на самом словаре впервые усваивал элементы осетинского языка. Такая ситуация не могла, разумеется, способствовать быстроте работы. Не могла она обеспе-

¹ Думаю, что и в Академии не могли не знать, что за редактирование осетинского словаря взялся человек, не только не имевший никаких работ по осетинскому языку, но и в имеющихся у него работах не обнаруживший никаких признаков знакомства с этим языком. Если, тем не менее, решились ему доверить это дело, то, очевидно, — *faute de mieux*.

чить и безупречного качества. Там, где Фрейман отрывается от Всев. Миллера и от осведомителей и предоставлен самому себе, сразу начинаются недоразумения.

Не имея в виду исчерпать всех погрешностей, я ограничусь рядом взятых наудачу lapsus'ов, которые оценит каждый, кто знаком с языком.

1. Словам даны неверные значения или действительные значения перемешаны с вымышленными:

мæнгвæдæг 'ложный предводитель' (вместо 'ложный сосок'), II, 804;

кæрæбi 'маслобойная колотушка' (вместо 'качалка'), II, 725;

куді 'плечо' (на самом деле только — 'хвост, крестец'), II, 739;

кўзгбн 'самоуверенный' (только — 'часть желудка у жвачных, reticulum'), II, 741;

абухун 'волноваться' (вместо 'валяться'), I, 3;

јæ гаччв абадтi 'он сел на свои ножки' (!что-то дикое, взято с потолка), I, 375;

раст 'настоящий' (на самом деле только 'прямой, правдивый' и пр.), II, 968;

дæснч 'умный' (только — 'искусный, знахарь'), I, 493;

дулон 'лицемерный' (взято с потолка), I, 461;

æнæфсæрм 'невиновный' (с потолка), I, 150;

стæгдар 'наследник' (только 'скелет, кости'), II, 1125;

ахсвнц (цухт) 'варят (сыр)' (вместо 'створаживают'), II, 1169;

мæгўр-тæг дано отдельно со значением 'бедненький', в действительности — множ. число от мæгўрæг, II, 796.

2. Даны несуществующие формы:

сæрбадт 'председатель' (вместо сæрбад), II, 1064;

мæст 'гнев' и пр. (в имен. пад. существует только маст), II, 808;

хæххаг 'горец' (существует только хохаг и хæххон), I, 124, и др.

Кое-где от Фреймана достается не только осетинскому, но и русскому языку. Чего стоит, напр., такой перл: «...вши меня облезли» (II, 1169; так талантливо Фрейман перевел осетинскую фразу; «...схстутæ мæ схудств»). Или еще: «О нарте Урызмаге говорят, что он семь раз ставал стариком...» II, 847.

3. Словарь изобилует тем, что можно назвать мусором. Произошло ли это в погоне за звездочками,¹ или потому, что редактор, не зная языка, не мог естественно отделить ишеницу от плевел, или оттого, наконец, что редактор смешивает научный принцип полноты словаря, с антинаучным принципом «бери, что попало», но словарь засорен множеством лишённых какой-либо лексикологической ценности раритетных и искусственных образований, не имеющих ни прошлого, ни будущего. Особенно много таких надуманных и вымученных псевдо-лексических кунштштюков среди слов, начинающихся с превербов а-, ба-, арба-, нч-. Хотелось бы знать, в чем

¹ Звездочками (*) отмечены в словаре «дополнения А. А. Фреймана».

воспаленном мозгу родились все эти æрбаморæ ун 'стать коричневым' (I, 185), бабундз кæнун 'пролететь подобно мухе' (I, 259), нуббæх кæнун 'сделать лошастью' (II, 871) и мн. др.? Почему слова даны как раз с теми провербамми, с которыми они всего реже употребляются, но не даны с теми, с которыми они сочетаются всего охотнее? Почему даны, например, раритетные бабунат кæнун (I, 259), бабур ун (I, 258), бабунт кæнун (I, 258), бабундз кæнун (I, 259), но отсутствуют общеупотребительные æр-бунат кæнун, с-бур ун, с-бунт кæнун, нв-ббундз ун?¹ По какому принципу отобраны в словарь образования с отрицанием æнæ 'без'? Что, напр., за лексема — æнæхæдојнаг 'без материала на рубашку'? (I, 151). Почему редактор усмотрел в ней одно слово, а не два (æнæ хæдојнаг)? Почему наряду с æнæ хæдојнаг не дано æнæ хæлајфаг 'без материала на кальсоны'? Почему æнæ қæмп 'без соломы' — лексический факт, а æнæ хос 'без сена' — нет? Всех этих тайн человечество никогда вероятно не узнает, так же, как тайны «облезлых вшей» и «ставающего» Урызмага.

Много лишнего также во фразеологии. По утверждению редактора фразеология призвана «иллюстрировать оттенки значений слов» (I, IV.). Если так, то совершенно непонятно назначение пространной фразеологии под такими словами, как қріқуни 'журавль' (I, 455), қаз 'гусь' (I, 420) или кæлæу 'осленок' (II, 722). Из этой фразеологии мы узнаем в лучшем случае, что гусь есть гусь, а осленок есть осленок. О каких, собственно, оттенках значения «осленка» может идти речь? Некоторые «поясняющие» фразы вызывают крайнее недоумение. Слово сүлгојмаг 'женщина' «поясняется», напр., следующим выразительным афоризмом: бæхæн — јæхс, сүлгојмагæн — мој «лошади — плеть, женщине — муж» (I, 1162). При цитировании осетинских авторов допускаются ошибки. Фраза «зæрватк æнæдуг, кæм хæтс зумæг» со ссылкой на сборник стихотворений Коста 114 (I, 555) представляет в действительности своеобразный «монтаж» из двух стихотворений этого поэта: первый стих взят из одного стихотворения («Зæрватк»), второй из другого («Дзүвүлдар»). Такая ошибка могла случиться с человеком, который, зная язык и понадеявшись на память, процитировал наизусть. Следовательно Фрейман тут не при чем. Но на обязанности редактора лежит, мне кажется, также проверка материала, доставляемого осведомителями.

4. Сделавшись жертвой странной иллюзии, что можно быть редактором словаря, не имея представления о языке, Фрейман не ограничивается ролью пассивного регистратора фактов, доставляемых «живыми носителями языка», и предпринимает время от времени самостоятельные этимологические изыскания и экскурсы. После сказанного нетрудно догадаться, что из этого получается. Я ограничусь несколькими анекдотическими примерами.

¹ По своей лексической значимости приведенный словарный мусор в точности равен таким русским кунштюкам, как 'раскоричневеть', 'приподжелтеть', 'наместиться', 'вылетучиться' и т. п. Никто не скажет, что такие образования теоретически немыслимы. И однако, в каком словаре найдете вы что-либо подобное? И каким монстром должен выглядеть словарь, в котором будут помещены все теоретически возможные комбинации этого рода!

Ос. «стаэммæ цæун» представляет техническое выражение для обозначения случки у собак. Аналогичные обороты имеются и для других животных: «урсмæ цæун» (о лошади), «курмæ цæун» (о корове). Все эти выражения значат одно и то же: «итти к самцу». Не разобравшись во всем этом, Фрейман отнес рассматриваемое выражение к гнезду стæм 'редкий'. Следовательно стаэммæ цæун должно, по Фрейману, означать что-то вроде 'итти к редкому' (вместо 'итти к самцу'). Но так как это не дает никакого разумного смысла в контексте, то Фрейман делает новое усилие воображения и переводит (со скромным вопросительным знаком): «сходиться на некоторое время» (II, 1126)! Легкость в мыслях, что и говорить, необыкновенная. А если мы с этим беззастенчиво фантазирующим Фрейманом сопоставим другого Фреймана, напыщенно поучающего осторожности (ДАН-В, 1924, стр. 47), то зрелище получается вовсе забавное.

Приведенный случай не является единственным, где Фрейман фантазирующий коварно подставляет ножку «осторожному» Фрейману. На стр. 686, т. II находим: кæфқұн 'запруда в реке'. Это слово — типичный образец того, что немцы называют Wortgespenst. Так как между осетинским языком и этим словом нет ничего общего, то остается думать, что оно представляет плод кабинетного творчества Фреймана, который извлек его, очевидно, из кæфқұндар 'дракон', осмысленного им по собственной инициативе, как «державший запруду»(?) В действительности кæфқұндар значит, конечно, 'рыба (кæф) шерстью (құн) покрытая' (дар). Для ираниста Фреймана получается тем больший конфуз, что все три элемента, из которых состоит кæфқұндар, представляют хорошо известные иранские слова, и все образование так же просто и прозрачно, как, скажем, русское «ковер-самолет». Представьте себе «специалиста» по русскому языку, который выражение «ковер-самолет» разделил бы на две части: «коверсамо» и «лет», далее вставил бы «коверсамо» в словарь, как особое слово, и сочинил бы для него «подходящее» значение! Подобные вещи в академическом издании нельзя назвать иначе, как скандальными.

В предисловии к т. I, стр. IV Фрейман сообщает: «Ссылки и сравнения с другими осетинскими словами, за которые несет ответственность сам редактор, могут в некоторых случаях указать читателю метод, который редактор считал бы правильным в построении осетинского этимологического словаря» Крайне заинтересованные этим методом, мы ищем примеров и на стр. 773 находим: «ліқæ д. adj. 'раздавленный'... ср. æлқевун». Если судить по этому примеру, то «метод» Фреймана не нов. Это «метод» всякого дилетанта, который берется за этимологию, не овладев еще начальными элементами языка. Каждый, кто разбирается сколько-нибудь в исторической грамматике осетинского языка, не может не знать, что между ліқæ и æлқевун нет никакой связи, кроме случайного звукового сходства, наудочку которого и попался «осторожный» Фрейман. В ос. æлқевун || алқивун || алқивун 'сжимать' имеем основу *lǵiv, закономерно восходящую к более древнему *graiβ- (рядом с *grab), ср. нем. *greifen*, лит. *greibiti* (Walde-

Pokorny, Vergl. Wörterbuch d. idg. Sprachen, I, 647, *ghreib-*). Диг. *liqæ* никакого отношения сюда конечно не имеет.

Преступное легкомыслие, с каким эти детские этимологические опыты вставлены в такое ответственное издание, можно легко оценить, если учесть, что настоящий словарь, как единственный более или менее полный лексикографический труд по осетинскому языку, получит широкое распространение среди специалистов у нас и за границей, и отдельные исследователи, положившись на осведомленность редактора, будут на этих «этимологиях» строить дальнейшие выводы и сближения. Вера в осведомленность редактора может укрепиться еще благодаря тому, что Фрейман странным образом не делает никаких оговорок относительно того, с какой подготовкой ему пришлось взяться за редактирование словаря. Напротив, написанные с большим апломбом предисловия внушают отрадное убеждение, что в лице Фреймана мы имеем дело с авторитетом первого ранга. Правда, это убеждение рассеивается на первых же страницах словаря, но... ведь не все обязаны знать осетинский язык.

Какие практические выводы можно сделать из опыта издания миллеровского словаря? Основной практический вывод, который напрашивается сам собой, довольно элементарен, и его вряд ли стоило добывать такой дорогой ценой: нельзя поручать редактирование ответственных изданий лицам без достаточных знаний, совершенно недопустимо, чтобы редактор словаря знакомился с языком впервые в процессе редактирования. Нарушение этих очевидных истин привело к тому, к чему привело. Капитальный и широко задуманный труд покойного Всеv. Миллера выходит в свет в явно неудовлетворительном виде. Несмотря на огромные время и труд, затраченные на это дело, редактор не избегнул грубейших промахов, нетерпимых не только в академическом, но и в рядовом издании. Лишний раз подтвердилась и прежде известная истина, что ни претензии, ни усердие не могут возместить недостатка знаний.

Эпопея издания словаря еще не закончилась. Но осетинская общественность, с таким энтузиазмом встретившая это начинание, уже чувствует себя разочарованной. Она разочарована убийственными темпами издания словаря. Она разочарована упорно проводимой старой графикой, которую новое поколение уже не понимает. Она разочарована обилием ошибок и дефектов, которых никто не ожидал от издания, выходящего под маркой Академии и с именем Всеv. Миллера на заглавном листе. И тем не менее она с нетерпением ждет выхода третьего тома. Какой он ни есть, словарь должен заключать все буквы алфавита. Иначе его ценность сходит на-нет. Фрейману должна быть обеспечена возможность закончить работу, к которой он теперь, надо думать, подготовлен лучше, чем десять лет назад. В интересах и самой Академии Наук, и культурного строительства Осетии, и всей прагматической и вообще лингвистической науки — довести до конца это чересчур затянувшееся предприятие.

В. Абаев

Eduard Hermann. Lautgesetz und Analogie, IV + 204 стр. Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Kl., Neue Folge, Bd. XXIII, 3. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1931.

Большая монография Е. Hermann'a написана под знаком критики и пересмотра всех старых теоретических оснований, на которых покоится учение о звуковом законе и аналогии. Свободомыслящий автор не скрывает тяжелого недуга, который переживает европейская лингвистика, и призывает к ревизии, так как «всякое сомнение в правильности нашего метода может дать стимул к тому, чтобы вывести языкознание из кризиса, в котором оно находится» (стр. 3). «С учением о незнающих исключения звуковых законах, пишет Е. Hermann, мы постепенно зашли в тупик (*wir sind mit der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze allmählich in eine Sackgasse geraten*)». Наш метод действительно требует усовершенствования» (стр. 6, подчеркнуто автором).

Показывая на ряде примеров, как мало согласуются факты с механическими обобщениями теоретиков, Е. Hermann предлагает обратиться к живым языкам, дабы «кабинетные теории» (*am grünen Tisch ersonnenen Theorien*) были постепенно вытеснены данными опыта (стр. 71). Подводя итог своему исследованию, он пишет: «Старый метод со звуковым законом и формулой пропорции был слишком груб и механичен. Он должен уступить место более тонкому методу. Гораздо тщательнее чем до сих пор нужно исследовать развитие звуков и аналогических изменений, с большей любовью нужно углубиться в мельчайшие тонкости. Параллельно с утончением метода должно идти углубление языкового исследования. Подобно тому как учение о фонеме призвано углубить наблюдения над звуковыми изменениями, так учение о внутренней форме призвано углубить исследование аналогии. При таком понимании, исследования звуковых законов, как и аналогии, могут способствовать тому, чтобы повернуть языкознание на новые пути» (стр. 193, подчеркнуто автором).

То, что рекомендует Е. Hermann, сводится в сущности к более углубленному исследованию «мельчайших» семантических процессов (отсюда важность учения о фонеме и о внутренней форме). Совет бесспорно разумный, но вряд ли способный оправдать те оптимистические надежды, которые на него возлагаются. Чтобы «повернуть языкознание на новые пути», нужно еще кое что, напр. — понять язык (не какую-нибудь группу языков, а язык вообще), как историческую категорию. От этого пока достаточно далек, как кажется, и Е. Hermann.¹

В. Абасов

¹ Ни из данной, ни из прежних работ Е. Hermann'a не видно, чтобы он был сколько-нибудь серьезно знаком с яфетидологической литературой. Это не мешает ему, однако, сделать попутно профилактический выпад против Н. Я. Марра («...aussichtslose Spekulationen eines Marr», стр. 48).

Белуджские сказки, собранные И. И. Зарубиным. Труды Института востоковедения Акад. Наук СССР. IV. 1932. Изд. Акад. Наук СССР, Л., VIII + 220 стр.

Настоящий сборник не является первой работой, посвященной И. И. Зарубиным народному творчеству белуджей. В Записках Коллегии Востоковедов, V, стр. 653—679 (1930), помещена его же статья «К изучению белуджского языка и фольклора», содержащая 4 народных песни и 2 сказки, а также ценные указания лингвистического, фольклорного и бытового характера. Рецензируемый сборник представляет и с фольклорной и с лингвистической точки зрения весьма ценное прибавление к существующим, крайне немногочисленным материалам по одному из мало изученных иранских языков.¹ Ценность сборника возрастает еще от того, что тексты записаны у наших, советских белуджей, язык которых имеет ряд особенностей, отмеченных И. И. Зарубиным в его вышеуказанной статье.

Сборник содержит 21 сказку с переводом. Язык сказок исключительно прост, ясен и лапидарен, и это делает наши тексты незаменимым материалом для первоначального ознакомления с языком. Перевод удачно разрешает задачу маневрирования между двумя крайностями: неудобочитаемой буквальной и «вольной» передачей. Он безукоризненно литературен и в то же время точен, верен оригиналу и позволяет легко разбираться в тексте.² Отсутствие словаря и комментариев лингвистом ощущается как существенный минус. Когда мы находим, например, слово *šēgā* обычно в значении «под», а в одном месте (стр. 110) в значении «над», или когда слово «душа» дается обычно в форме *parās*, а в одном месте (стр. 147) в форме *pīrās*, то невольно являются недоумения, для разъяснения которых некуда обратиться. К счастью в силу простоты текстов и хорошего перевода таких недоуменных вопросов возникает немного.

Составитель заслуживает со стороны иранистов и фольклористов самой живой признательности за ценный языковой и фольклорный материал.

В. Абаев

¹ Предшественниками И. И. Зарубина в деле издания материалов по белуджскому фольклору являются А. Lewis, Hittu Ram, W. Geiger и в особенности М. L. Dames.

² Единственная замеченная мною погрешность — это перевод (по недосмотру) бел. *art šar o art goš* через «десять ночей и десять дней» вместо «семь»... (стр. 101).

ХРОНИКА

Доклады и сообщения, заслушанные на заседаниях кабинетов ИЯМ с 1 января по 1 июня 1933 г.

Кабинет общего языкознания

- К. Р. Мегрелидзе. Мышление у животных (30 IV).
В. Г. Богораз. Чукотская письменность (4 V).
М. М. Гухман (асп.). Г. Шухардт (16 V).
М. М. Гитлиц (асп.). Омонимы и синонимы в идиш (28 V).

Кабинет русского и украинского языков

И. К. Зборовский (асп.). Характер образования и техника развития аббревиатурных (сокращенных) слов в современном украинском, русском и белорусском языках (4 I).

Ф. П. Филин (асп.). О психологическом направлении в разработке синтаксиса русского языка (26 I).

М. М. Сугак (асп.). Проблема стабильности в украинской лексике «Слова о полку Игореве» (20 II и 26 IV).

Г. Ф. Турчанинов. О лексике поучения Владимира Мономаха (5 IV).

Ф. П. Филин (асп.). Слово «верста» (опыт палеонтологического анализа).

Д. Д. Димитров. О языке болгар Ольшанского района (20 V).

Кабинет кавказских яфетических языков

И. И. Мещанинов. Исторический очерк изучения халдского языка (10 II).

И. И. Мещанинов. Два языка древнего Вана (3 III).

Н. М. Дрягин. Наблюдения над языками Дагестана (27 III).

Р. М. Шаумян. Armeniaca-lesgica (армяно-лезгинские лексические параллели) (31 III).

И. И. Мещанинов. Непереходный халдский глагол (4 IV).

С. Л. Быховская. Verba sentiendi (17 IV).

Г. В. Церетели. К вопросу об активном падеже в грузинском (28 IV).

С. М. Жгенти (асп.). Семантика термина Чорох (4 V).

Ш. В. Дзидзигури (асп.). О суффиксе множественности в грузинском (10 V).

Ш. В. Дзидзигури (асп.). Суффиксальное образование грузинского глагола (25 V).

И. Л. Снегирев. Нормы кинетической речи в числительных зулу (29 V).

М. П. Чхаидзе (асп.). Из синтаксиса грузинского языка (29 V).

Г. Ф. Турчанинов. Черкесская культура по данным языка (31 V).

Кабинет индо-иранских языков

А. П. Баранникова. Цыганские тексты (28 I).

Н. А. Белгородский. Современная персидская лексика (10 II).

С. Ф. Ольденбург. Е. Э. Бертельс, И. И. Зарубин. Вопросы словарной работы: таджикский, белуджский, шугнанский словари (22 II).

В. И. Абаев. О названиях некоторых съедобных растений в осетинском (5 III).

Н. А. Белгородский. Некоторые особенности стилистики современного персидского языка (20 III).

В. И. Абаев. Осет. *az* год (5 IV).

Е. Э. Бертельс. Вопросы таджикского литературного языка (20 IV).

О. Л. Вильчевский. Показатели множественности в пзафете в курдском (20 IV).

А. П. Баранников. Явления ротацизма в языке хинди (5 V).

И. И. Зарубин. Персидский язык и персидский фольклор в приамурских странах (5 V).

Е. Э. Бертельс. Языковое творчество в диване Тарзи-Афшара (20 V).

В. И. Абаев. Новоизданные ахеменидские надписи (20 V).

Кабинет семито-хамитских языков

Н. В. Юшманов. Внутренняя флексия и гармонизация гласных в семитских языках (20 I).

М. М. Гитлиц (асп.). Языковостроительная политика зарубежных идишистов (25 II).

Добин (приком. из Киева). Работа филологической секции еврейского научного института в Киеве (20 III).

Н. В. Юшманов. Структура семитского корня и ее стадийный анализ (20 IV).

Н. В. Юшманов. Развитие литературной речи ассирийцев в СССР (20 V).

Г. В. Церетели. Арабский диалект г. Алеппо по рукописному материалу XVII в. (25 IV и 5 V).

Сектор устной литературы первобытного общества

Б. В. Казанский и И. Г. Франк-Каменецкий. Рецензия на сборник «Язык и литература», № 8 (19 I).

Н. М. Дрягин. Элементы мифа об умирающем и воскресающем боге в осетинском сказании о безымянном сыне Урузмага (27 I).

М. М. Гухман (асп.). Сообщение о сборниках АЗГНИИ по фольклору Азербайджана и прилегающих стран (28 II).

Н. М. Дрягин. Культовая роль свиньи по материалам кавказского фольклора (29 III).

И. Г. Франк-Каменецкий. Город-женщина в библейской эсхатологии (19 IV).

В. В. Струве. К древне-египетской сказке о правде и кривде (9 V).

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT

BY JAMES M. SMITH

VOLUME I

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

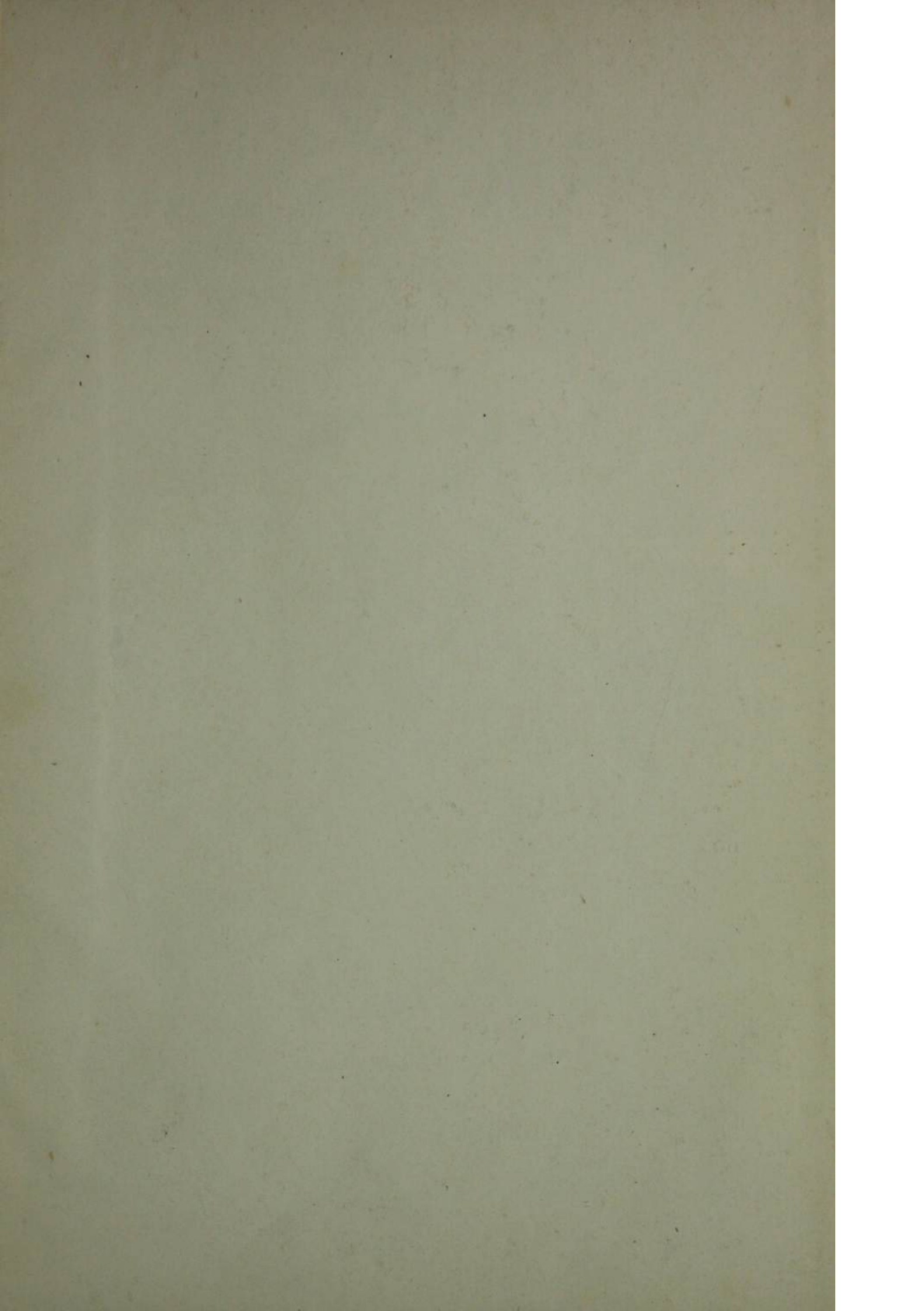
THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS

THE FIRST SETTLEMENTS



СХЕМА

ДИФФУЗНЫЙ ВЫКРИК

противоположности
надставных труб

ртовые — носовые
(элемент С)

носовые — ртовые
(элемент D)

противоположности
артикуляций во рту

язычные — плавные
(элемент А)

зубные — плавные
(элемент В)

противоположности
артикуляций языка

переднеязычные — плавные
(сбилянтная ветвь элемента А)

заднеязычные — плавные
(спирантная ветвь элемента А)

противоположности
артикуляций
частей языка

свистящие — плавные

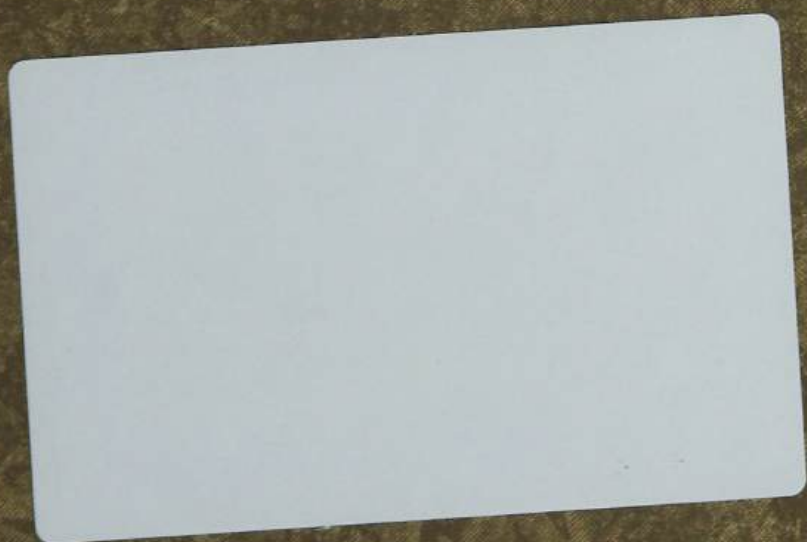
шипящие — плавные

небные — плавные

гортанные — плавные

(группы внутри ветвей элемента А)





Генерал-майор

Паренько 2-й пол.

